



А. Воронов-Оренбургский



ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОХОД

ТОМ 1

КАВКАЗ
- ПРОПОВЕДЬ
В КАМНЕ

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

РОМАН ИЗ ЦИКЛА «ЭШАФОТ»

Андрей Воронов-Оренбургский
Железный поход. Том 1.
Кавказ – проповедь в камне

«Автор»

2014

Воронов-Оренбургский А.

Железный поход. Том 1. Кавказ – проповедь в камне /
А. Воронов-Оренбургский — «Автор», 2014

ISBN 978-5-532-95903-3

Середина XIX в. Кавказская кампания — самая долгая война в истории России, тянувшаяся почти шестьдесят лет и стоившая огромных финансовых потерь и человеческих жертв. Это была война, которая потребовала от своих героев не только мужества, но и изощренного коварства. Война, победа в которой завершала строительство самой великой из евразийских империй. Роман Андрея Воронова-Оренбургского «Эшафот» воссоздает события самого драматического эпизода Кавказской войны — похода русской армии в Дарго, резиденцию великого Шамиля, имама Чечни и Дагестана. Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-95903-3

© Воронов-Оренбургский А., 2014

© Автор, 2014

Содержание

Часть I. Кавказ – проповедь в камне	6
Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	20
Глава 4	28
Глава 5	33
Глава 6	40
Глава 7	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Андрей Воронов-Оренбургский

Железный поход. Том 1.

Кавказ – проповедь в камне

*«Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на мечь тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный».*
М. Ю. Лермонтов. «Кинжал»

Часть I. Кавказ – проповедь в камне

Глава 1

Безликий октябрьский день угасал... За граненым стеклом экипажа сгущался холод. Брюхатые, полные хляби тучи сеяли талый снег, так что, несмотря на отдернутый шелк занавески, тесный салон кутала тьма. И даже зажженный по этому случаю кучером-бульбашом каретный фонарь тщетно силился рассеять плотную вуаль вечера и столь знакомую душе одинокого путника знобливую дорожную хворь.

Уставшая тройка лошадей под редкий застуженный окрик возницы с унылой покорностью забирала туда, где сворачивала неведомая, плохо наезженная дорога, и снова чавкала грязью под скрипучую песню каретного колеса.

– Уж тепериче недалече, пане, час, другой... по Виленской земле изволите ехать! Э-эх, и дела тут прежде были... Кровищи нашей здесь сколь пролилось! – Мокрый, побитый сединой ус на миг показался за стеклом оконца.

Сиплый голос кучера, внезапный и грубый не то от сырости и простуды, не то от долгого молчания на тряских козлах, вырвал из дорожного забытья закутанного в долгополый, с пелериной офицерский плащ седока. Машинально поправив на руке сбившуюся лайковую перчатку, тот с мрачной задумчивостью посмотрел в безграничную сизую тьму сквозь стекло, по которому сбегали флотилии капель.

...Шла вторая неделя пути. Стылый Санкт-Петербург остался за сотнями верст, а в душе по-прежнему гнездилась тревога, гуляли сквозняки обиды и страха. Аркадий Павлович Лебедев, подавляя тяжелый вздох воспоминаний, крепче запахнулся, скрестив на груди руки. На его уставшее лицо легла тень напряженного молитвенного раздумья.

Среди сослуживцев по полку, их дел и чаяний ротмистр Лебедев был зримо обособлен, столь непостижимо чужд к мирским обыденным радостям, что вызывал скрытое раздражение, а подчас и открытую неприязнь. На первый взгляд он мало отличался от всех: делал то же, что и другие, исправно нес службу, бывал на балах... но порою тем, кто знал его ближе, казалось, что он лишь умело подражает действиям живых людей, а сам полон иным, тайным миром, куда остальным доступ заказан. И редкий кто из господ офицеров, столкнувшийся к ним по оказии или делу, позже не ломал голову над вопросом: «Что мучает, что томит сего странного, молчаливого человека? Чем он живет? О чем думает?» Так ощутимо и выпукло была начертана глубокая сосредоточенность, сдержанность в его ответах и действиях. Была она и в его жестком, четком шаге, и в сухой, без оттенков, речи; в расчетливой неторопливости принимаемых решений, когда между словом и делом намечались паузы притаившейся, тайной мысли. Незримым стеклом стояла она перед его сумеречной зеленью глаз, и горд был далекий, чего-то ищущий взор, мерцавший из под темных русых бровей. Знакомым случалось на бульваре по паре раз окликать его, прежде чем он услышит и обратит на них свое внимание; в театре иль на бегах он забывал (иль не считал нужным?) кивнуть головой, и оттого его почитали надменным и злым.

Ротмистр крепче сцепил пальцы. Обида и гнев на свою изломанную, скомканную, как бумажный лист, судьбу побеждали целомудрие разума. Под гороховую россыпь барабанившего дождя, под стоны промозглого вечера, под рваный отголосок предательских речей, из прошлого, когда, казалось ему, сама вечно лгущая жизнь обнажала свои неприглядные недра, – в сознании Аркадия Павловича мелькали, как вспышки зарниц, страшные мысли. Но внутренний голос продолжал назидательно вещать: «Увы, брат, мир так устроен. На все воля Божья. А

претендовать на исчерпывающие ответы к вечным вопросам... не есть ли глупость? Нелепица, вздор?»

Лебедев бегло глянул в окно. Там, на западе, враждебным свинцом накалились низкие тучи; над открывавшейся взору корявой равниной змеились дымные сумерки, такие хмурые и студёные, что кожа стягивалась под игольчатый бег мурашек. Погода изменилась со вчерашнего дня: налетевший ветер затянул небо тучами, оно стало похожим на гранит, зарядил моросящий дождь. И хотя до ночи оставалось ещё время, казалось, что на землю ложатся уж совсем поздние тени, одевая её туманом, будто плащом. Похолодало. Морозный воздух свободно гулял по салону, легко проникая сквозь запертые дверцы экипажа. У горизонта опасно моргнула небу предзимняя молния. И вместе с нею, с опозданием, точно эхо, долетел смысл брошенных с козел слов денщика: «Э-эх, и дела тут были... Кровищи нашей здесь сколь пролилось!»

«Мятежная Польша... глупая Польша. – Ротмистр повернул в руках сияющую драгунскую каску. – Странная скандальная судьба...» В памяти всплыли сложенные русским солдатом нехитрые строчки песни:

*Уж как трудно было, братицы,
Нам Варшаву-город брать...*

Лебедев усмехнулся спеси зарвавшейся польской шляхты. После выхода Великого князя Константина из границ Царства Польского его нагнала пышная, расшитая золотом и серебром депутация из Варшавы и дерзко бросила в лицо, что-де благородные шляхтичи снизойдут прекратить резню и грабежи москалей, ежели к Царству Польскому немедля отойдут «бывшие» их вотчины – Литва, Белая Русь и Малороссия. Эта невообразимая, возмутительная наглость была тем сильнее, что варшавским мечтателям грезилась Великая Польша от моря Балтийского до моря Черного, хотя таковой от века мир не ведал.

Однако, когда запылала огнем православные храмы, а на мирных улицах Варшавы были забиты толпой русские офицеры и генералы, когда большая часть польских регулярных войск подло изменила присяге и примкнула к кровавому мятежу, затаившая на Россию вековечную злобу Европа тут же стала вещать раздвоенным языком о своем миротворческом вкладе в сей спор. В её лживых вздохах о якобы бедной, поруганной Польше слышались отнюдь не жалость, не скорбь по западному славянскому племени... В них слышалась жгучая зависть к чужой ослепляющей роскоши, к гордому величию тех, кто не дрожал под стальным каблуком наполеоновской Франции, кто не признал наглой воли тирана, кто кровью своею омыл победу во имя свободы и торжества мира.

– Нет, пожалуй, никто не дал клеветникам такой пламенной отповеди, как наш брат Пушкин¹

Аркадий откинулся на стеганую спинку сиденья, припоминая строки убитого поэта, что жили в те годы в обеих столицах:

*О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?*

¹ А. С. Пушкин. «Клеветникам России». Стихи обращены к депутатам французской палаты и к французским журналистам, демонстративно выражавшим сочувствие польскому мятежу и призывавшим к вооруженному вмешательству в русско-польские военные действия. «Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной, бешеной клеветой. – Конституционные правительства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны» (черновой текст письма к Бенкендорфу, написан около 21 июля 1831 г. Подлинник на французском языке; см. Акад. изд. Собр. Соч. Пушкина. Т. XIV. С. 183. – *Здесь и далее прим. Автора.*

*Оставьте: это спор славян между собою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозой
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре?
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.*

Память подвела драгуна... Дальнейший бег строф выпал – хоть убей, но явственно проявилась конечная высокая нота:

*Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Пёрми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витши,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.*

– Кажется, в автографе этого «ответа» был еще и занятный эпиграф? – Ромистр рассмеялся в кулак. – Ах да, конечно: «Vox et praeterea nihil» – звук и более ничего – звук пустой. Как точно, не в бровь, а в глаз. – Лебедев смахнул со лба докучливую прядь и надолго замолчал, точно прислушиваясь к себе. Мажорное настроение от стихов задержалось в нем ненадолго: уже через четверть версты та же постоянная дума, тяжелая, ровно мельничный жернов, придавила воспоминание пушкинских виршей и на пути к устам раздавила наметившуюся улыбку. И снова он думал – думал о Боге и о себе, об обществе, что его окружало, и о загадочных судьбах человеческой жизни...

Сумерки за окном взялись крепче. Тонкая снежная пыль влажным, холодным бисером лежала над разбухшей виленской землей, небо было темное, что перекаленная сталь, и гнетущей бесприютностью дышал мгlistый воздух. Обтянутые кожей сиденья были влажными на ощупь, беспрестанный колючий дождь просачивался через крышу, и время от времени холодная капля срывалась под ноги Аркадию Павловичу.

Тускло звякнули поддужные бубенцы, что-то каторжно гикнул лошадям промокший до костей ямщик. И снова дорожный хлюп, и снова чавканье, которому, казалось, уже не будет края. Колеса кареты стонали, попадая в выбоины на дороге, временами букеты талой жижи взлетали до уровня окна, где они размазывались по стеклу, стекая вниз с дождевыми каплями. А потом как будто пропали и эти скупые звуки – все стихло, и накопилась черная немота. Мертвая водяная пыль своими холодными объятиями душила всякий нарождающийся звук; не колыхался пепел листвы на чахлых кустах, не было ни голоса, ни крика, ни стога.

Еще не вполне отойдя от своих душевных терзаний, Аркадий утер лицо, пытаясь собрать воедино растрепанные чувства.

– Господи, все одно к одному, как злобная шутка рока... Как призрачна жизнь... – Он уронил лицо в ладони, прикрыл глаза, в сотый раз разбирая пасьянс своей не сложившейся жизни.

В это время лошади дернули крепче; экипаж задрожал, как живой, тщетно сиюсь вырваться из объятий налипшей грязи; под колесами что-то чмокнуло, провернулось. Карета опасно накренилась... Харкнула ямщицкая брань, послышался надрывный храп испуганных лошадей и беспощадные «выстрелы» хлыста. Мгновение, другое... Тройка опять бешено рванула, и – слава Царице Небесной – колеса застучали по твердой земле.

– Ух и жуть – бучило здесь, пане, гиблое место! – с какой-то злорадной нотой накладывая на себя крест, вновь подал голос ямщик.

Однако внимание офицера было всецело приковано к разбуженному младенцу. Боясь пошевелиться, Лебедев склонился над коробом дорожной кровати, что покоилась рядом на сиденье.

Ребенок не спал, маленькое лицо сморщилось и покраснело от натуги, но плач напоминал скорее икоту или кряхтение, что вызвало невольную улыбку. В жизни ротмистру выпало испытать немало... но держать в руках новорожденных – увы... И сейчас он откровенно нервничал. Неуверенно, плохо слушающимися руками Лебедев развязал банты широких валансьенских кружев, раскинул узорчатый атлас и, как мог, поменял потемневшие сырые пеленки. Затем осторожно подсунул одну ладонь под круглый затылок, другую пониже спины, и приподнял. Сердце бывшего драгуна екнуло, лишь только он ощутил у себя на руках беспомощное, нежное, что бархат, тельце. Его забирал страх, что дитя зайдется плачем, но «герой» молчал и смотрел невинным взглядом, неопределенным, как у всех младенцев.

– Ох ты, Господи, Аника-воин! Надо же... такому случиться... – Ротмистр еще раз посмотрел на своего горе-попутчика, подмигнул ему и бережно прижал к своей груди. Мягкий шелк едва наметившихся локонов щекотал ему щеку. Лебедев несколько раз вдохнул ставший родным за время пути теплый и мирный запах младенческой кожи, и соль слез обожгла глаза.

– Что ж, братец, время прощаться. – Он по-отечески коснулся припухших от плача розовых бровок, лба и так же бережно уложил дитя в кроватку. – Ты погоди... постой, крестник, будешь сейчас пировать... – Аркадий Павлович наскоро распахнул подбитый бобром плащ и вынул нагретый на груди молочный рожок. – Измучился, родимец, ан скоро конец твоей одиссее, осталось чуть... больше терпели... Ну-тка, давай, братец, окажи любезность, уж не побрезгуй...

Маленький рот стал жадно искать «материнский сосок», потом раскрылся, сладко зевая, показав крохотный розовый язычок.

– Ну-с, что ты все мимо. – Усаемая нянька ближе поднесла рожок к ищущему рту. Кряхтенье и писк сразу утихли. Малыш взялся на совесть сосать, пока не устал, пока лоб не взялся испариной. Отвернувшись от соски, он тихо рыгнул и стал резво размахивать перед собой стиснутым кулачком, внимательно разглядывая кормилицу.

Лебедев, точно замороженный, полный странных, противоречивых, щемящих чувств, не мог отвести глаз от этой миниатюрной копии своего высокого покровителя. «Да... mademoiselle де Ришар подарила сему творению любви и греха свои безупречные черты и бледно-золотистую теплоту кожи... Но эти темные волосы, эти неповторимого оттенка яркие глаза в обрамлении густых ресниц, – это, без сомнения, глаза отца – Великого князя Михаила Павловича»².

² Великий князь Михаил Павлович (1798–1848), генерал-фельдцейхмейстер; в 1824 году сочетался браком с Каролиной, принцессой Вюртембергской, которая получила православное имя Елена Павловна (1806–1873). Имел пять дочерей, но только с именем одной из них – Екатерины (1827–1894) – связано продолжение великокняжеского рода. Для Великого князя Михаила по проекту К. И. Росси был возведен знаменитый Михайловский дворец, ныне – Русский музей.

Аркадий задумчиво улыбнулся своим мыслям, качнул неопределенно серебряным эполетом, ровно итожил: «...Пути Господни неисповедимы». И тут дитя моргнуло, словно молча с ним согласилось.

– Ежели черт не кружит, подъезжаем, пане! – долетело с козел.

Кони, почуяв запах жилья, зарысили охотнее. И действительно, минуло не более четверти часа, как впереди сквозь голую шеренгу деревьев замигали розово-желтые огоньки, такие желанные и теплые.

Аркадий приник лицом к забрызганному стеклу: вокруг на многих десятинах шептал и стонал под льдистой моросью заброшенный и глухой, почерневший от времени и влаги парк. Карета долго объезжала его краем, затем миновала темное жерло ясеновой аллеи с бледными силуэтами античных статуй и наконец остановилась у припорошенных снегом ступеней парадного входа. Где-то на задах графских пенат зло забрехали собаки.

Увязав короб лентами, Лебедев на прощание глянул еще раз в темно-голубые внимательные глаза крохи и, трижды перекрестив, скрепил:

– Как перед Христом, крестник, пробьет час, когда мы увидимся снова. Я вернусь к тебе, клянусь честью.

С этими словами ротмистр осторожно надрезал клинком край тончайшего кружева, на котором искрящимся золотом сплетался гербовый вензель.

За слезливым стеклом слышался хриплый кашель. Под тяжелым шагом хлюпнула дождевая вода. Вымокший с головы до пят извозчик, отряхиваясь, как бездомный пес, отворил дверцу и, буркнув что-то под нос, с рук на руки принял бесценный короб. Следом, глухо бряцающая ножнами палаша³ и шпорами, с подножки соскочил драгун.

– Прикажете здесь обождать, аль отогнать лошадей на боково крыло? – диковато блеснув в полутьме белками глаз, озадачил вопросом кучер.

Лебедев раздраженно бросил взгляд на стриженного под скобку угрюмого бульбаша, но вид бедно и грязно одетого человека, мокрого, холодного, задел за живое.

– Стой, как стоишь. На вот, возьми...

– Так ведь быт-то заплачено прежде?.. Вы, пан... – Бурая, как картофельная кожура, хватистая рука ямщика воровато одернула сырую полу затертого зипуна.

Офицер секунду помедлил, глядя в мелкие, не знающие покою глаза, перевел строгий взор на латаные, справленные из холстины порты, стоявшие коробом от воды и грязи, и, не говоря ни слова, сунул мужику деньги. Бульбаш молча колупнул серебряную мелочь черным сломанным ногтем, ухмыльнулся мрачно и, ловко ссыпав ее за кушак, передал ребенка господину.

Лебедев стал подниматься по скользким широким ступеням, а душу просквозил холод недобрых предчувствий. Весь вид нанятого им под Могилевом белоруса, его не пригнанное к телу платье со следами ночевки и грязи скрывало в своих лохмотьях что-то неуловимо хищное, заставляющее добротню одетых людей испытывать смутное чувство тревоги.

Цепные псы яростнее залились в лае, когда витое бронзовое кольцо трижды гулко ударило в дубовые двери. На этажах вспыхнул и погас свет, за стрельчатыми окнами мелькнули неясные тени, слышались возгласы, шаги... затем все стихло, словно вымело. И только после новых ударов, которые стали бойчее и крепче, откуда-то сверху раздался суровый и властный окрик:

– Кто вы? Чьи будете?!

– Мученики Божьи! – теряя остатки терпения, съязвил гонец. – Приказ его императорского высочества! Срочно! Откройте ворота!

³ Палаш – прямая тяжелая сабля, род холодного ручного оружия; им рубят и колют; палашами была вооружена как западноевропейская, так и русская тяжелая кавалерия: драгуны и кирасиры.

Минуту за высокими ставнями таились, затем недоверчиво, точно с оглядом, загремели запоры, звякнули снятые цепи, и массивные двери, стянутые потемневшими в прозелень бронзовыми болтами, медленно приоткрылись, пропуская в ночную сырть тускло-оранжевую полосу света.

– Прикажите накормить кучера, задать корм лошадям и нагреть побольше воды, – не обращая внимания на опешившую прислугу, распорядился офицер и, не снимая плаща, с которого ручилась вода, решительно подошел к дворецкому. – Отчего молчите? Граф у себя? – держа на руках младенца, строго повторил ночной гость.

Отозвался сам хозяин. Не входя в холл, он влоботорота царापнул, точно гвоздем, недовольным взглядом офицера, которого счел за одного из докучливых просителей, и жестко спросил:

– Извольте объясниться. Не имею чести знать вас. Что вам угодно в такой час?

– А чем он плох? Ротмистр Нижегородского полка Лебедев, Аркадий Павлович, – сухо и деловито рекомендовался непрошенный визитер, по-военному шелкнув каблуками. – Итак, граф. Могу ли я рассчитывать быть принятым?

– Ваша фамилия мне ни о чем не говорит, сударь. Я что, должен обрадоваться или склонить голову? – Пышные посеребренные сединой бакенбарды недобро дрогнули, слабая тень приветливости окончательно сошла с лица графа.

В длинном, в пол, английском халате, заложив руки за спину, он нетерпеливо прошелся по холлу и, не глядя на Лебедева, надавил:

– Так я жду, черт возьми!

– Мое имя, возможно, и неизвестно вам, ваше сиятельство, – с едва уловимой насмешкой прозвучал ответ, – однако имя его высочества великого князя Михаила...

– Михаила?.. – отступя на шаг, взволнованно прервал Холодов.

Задавая вопрос, старик уже отчетливо знал, от чьего имени послан к нему гонец. Важность и сановитая хмурь исчезли с его лица, оно покрылось почтительной бледностью, пальцы, сверкнув перстнями, сами поднялись к груди, из которой вырвался вздох изумления. Следующим порывистым движением обе руки крепко обняли посланника, и седые усы прикоснулись к сырой щеке офицера.

– Бог мой, так неожиданно! Что слышно из столицы? Как Великий Князь?

– Ничего, что могло бы его компрометировать, ваше сиятельство. Разве...

– Так сей... l'enfant⁴... сей bâtard⁵... – Глубоко запавшие глаза графа озарил всполох догадки, когда он помогал дворецкому принять из рук Лебедева изящный короб с младенцем.

– Да, ваше сиятельство. Но довольно. У нас мало времени. Прошу проводить меня в кабинет. Есть неотложные бумаги, которые его высочество велели вам передать.

– Mais, évidemment⁶ – Старик в знак согласия кивнул и, как-то двусмысленно косо посмотрев на посланца из-под густых бровей, обронил: – Будете в церкви, поставьте Всевышнему большую свечу. Да, да, не удивляйтесь... за то, что так просто отделались. В наших местах, – он снова посмотрел через плечо на Лебедева, – и кресты на могилах... стоят по-особенному. Что ж, извольте следовать за мной.

Граф, по-птичьи склонив голову, зашлепал разношенными старомодными туфлями по тусклому, давно не вощенному паркету холла, но у камина замедлил шаг и взял со столешницы трехпалый шандал.

– Ныне уж поздно. Жена моя, Татьяна Федоровна, недавно легли. Теперь, верно, почивают. Так что не обессудьте.

⁴ Ребенок (фр.).

⁵ Незаконнорожденный (фр.)

⁶ Само собой (фр.).

– Полноте, граф, я не барышня. Дозвольте помочь вам. – Лебедев, уважая старость, потянулся было к бронзовому шандалу, но Холодов придержал его.

– Нет, нет, голубчик, о сем не извольте беспокоить сердце. Я хоть и стар, но рука крепка и, помнится, некогда легко держала уланскую пику. Пожалуйте... Я вам посвечу... Только соблаговолите снять плащ и надеть сюртук. Вам следует просушиться и переодеться. Ноги, я гляжу, совсем сыры, худо, ротмистр, худо... Эй, Осип, где тебя черти носят?

Тут же из темноты огромной прихожей, как черт из табакерки, нарисовался старый лакей. Роба его вынырнула из-за колонны, что восходящая луна, такая же бледная и безволосая. Начищенные пуговицы ливреи сверкали, словно звезды на черном небе. С близкими слезами не то от «ночной плепорции водки», не от от любви или страха к своему барину, он без указки подхватил сброшенный плащ и тут же исчез, лишь на секунду задержав внимательный взгляд раскосых глаз на лице гостя.

Этот, казалось бы, обыденный, мало значащий эпизод с лакеем тем не менее смутил Аркадия Павловича. Странное ощущение испытала его душа в доме Холодова. С первых минут знакомства с хозяином, с его бессловесными слугами ротмистра не покидало чувство гнетущей неясности... И, право дело, он уже второй раз, после краткой беседы с угрюмым возницей, испытал гадкое чувство...

Однако, памятуя о приказе его высочества, о вверенном ему младенце, а главное, о словах, сказанных при прощании Великим князем: «...смеешь им доверять», – он гнал от себя недобрые, скверные мысли.

Старик, напротив, после услышанных слов о брате Государя, похоже, пришел в светлое и мягкое расположение духа. Тронув курьера за локоть, он пригласил его в «монплеизр». Они прошли несколько комнат, соединенных строгим коридором, прежде чем оказались в огромной библиотеке, где уже был растоплен камин и зажжены свечи.

Все здесь дышало духом прежних ушедших веков и полным презрением к новым веяниям. Пол был мощен дубовыми и лиственничными «чурками», местами весьма вытертыми, особенно у книжных шкафов; высокие стены хранили молчание, закованные до потолка, точно средневековые латники, в красное дерево с массивной, тяжелой резьбой; узкие, похожие на ивовый лист стрельчатые окна прятались в глубоких нишах... и книги, сотни книг, от которых у Лебедева зарябило в глазах. Мебель работы старых мастеров была расставлена так, будто каждый предмет от веку стоял именно на этом месте, да и не мог находиться ни на каком другом. Библиотека пахла воском, пылью и еще тем, чем пахнет прошлое – запахом ушедшего лета... Взгляд Аркадия привлекли картины в тяжелых позолоченных рамах: семейные портреты прошлого века, что тускло поблескивали на стенах. Он было приостановился рассмотреть их повнимательнее, но в это время хозяин тронул его за рукав:

– Прошу вас, Аркадий... – Граф сосредоточенно свел брови.

– Павлович, – подсказал гость и сел в указанное стариком кресло.

– После беседы вас, сударь, проводят в спальню. Это прямо по лестнице, на второй этаж. Там же вас будут ждать ужин, горячая на горчице вода для ног и смена сухого белья... Вижу, на вас боле всего промок плащ? Да, погоды стоят... – Старик уселся за стол и, не дожидаясь ответа, сдвинул на край стола книги, кожаные папки с бумагами, пресс-папье, украшенное слоновой костью, гусиные перья. – Вот дьявол! Никак не найду очки... Что за напасть?!

– Не эти ли, ваше сиятельство? – Офицер указал перчаткой на круглые, в черепаховой оправе очки, такие же строгие на вид, как и сам хозяин. Сдвинутые вместе с бумагами, они покоились на одной из папок.

– Благодарю. Вот что значат острые молодые глаза, – водружая на нос очки, покачал головой граф и, протянув морщинистую руку, сказал: – Деша его высочества при вас? Так я жду.

Глава 2

Уже лежа в свежей постели, прислушиваясь к частым порывам ночного ветра, Лебедев долго не мог уснуть. Поначалу не удавалось согреть своим теплом выстуженное ложе, позже, угревшись и задув оплывшую свечу, не получалось отдаться во власть желанному Морфею. За высоким окном на фиолетовом фоне проступали черные силуэты ветвей – корявые, похожие на старушечьи руки, немые и скорбные, они раскачивались на ветру, царапались о стекло: тук... тук... тук... словно просили милостыню.

Не в состоянии забыться, Аркадий закинул руки за голову и, глядя на причудливый купол старинного балдахина, что темным облаком нависал над кроватью, стал вспоминать дорогу из Петербурга в забытую богом Вильну. Картины рисовались глухие и серые, без единого яркого блика, как и сама дорога, которая то и дело кидала экипаж из колдобины на бугор и снова в яму. Не было в этих краях привычного русской душе простора и чистоты, дорогих взгляду вольных полей, ясных девичьих небес и светлого тихого плеса...

«Неужели младенца нельзя было свезти под Москву, в Тверь, Устюг или Владимир? Да мало ли славных губерний в России?.. Странно все это... Какая причина, какая тайна, чтобы в такую глушь? И почему выбор пал на меня? – ломал голову ротмистр. – Здесь до ближайшего уезда верст тридцать, если не более... Какая ужасная, неизмеримая тоска... Такую дыру еще поискать...»

Он вспомнил ажурный шалевый уголок кружев, из-под которого на него смотрели внимательные голубые глаза крестника, пухлый в ямочках кулачок, перетянутый словно ниткой у запястья, игрушечные пальчики, розовые полупрозрачные ноготки, похожие на перламутровые ракушки, и ощутил в горле горький комок. «Что ждет это дитя... какая судьба?» Перед мысленным взором проявилось сухое лицо графа: строгий взгляд, поджатые губы и скупые слова, сказанные, точно отмеренные на весах: «...Передайте его высочеству... для беспокойства оснований нет... Ребенок не останется без присмотра, все, что надлежит, будет соблюдено...»

«Граф Холодов, Петр Артемьевич, своенравный старик... Необычная личность и по всему – особенной судьбы, – заключил Аркадий. – Служить начал еще в золотой век Екатерины, имел честь быть в уланах, сказывал, дрался с жестоким турком, стяжал четыре ранения и две звезды... А как своенравно, ей-Богу, занятно он рассуждает о жизни, политике, вере!»

– Вас, верно, удивляет мое затворничество, господин ротмистр? Напрасно, сие от молодых лет. Что ж, станете старше, поймете. Моя келья – мой третий Рим. И, откроюсь – моя душа, видит Бог, в этой глуши живет в вечном празднике одиночества.

– Но за порогом мир, ваше сиятельство!.. – горячился Аркадий.

– Он мне знаком не понаслышке. В сути своей он – суета и дорога к пропасти, – не сразу, но убежденно ответил Холодов.

– Позволю не согласиться с вами, граф. Всяк ищет сам своего конца.

– Вот именно, голубчик. Только держите подо лбом, он гораздо ближе, чем мы полагаем.

– Кто не спотыкается в жизни?

– Верно, ротмистр, все. Но вот подняться не все могут, душу дьяволу продают... Вы, конечно, обращались к Евангелию? Ах да, понимаю, и не раз. Так я скажу вам словами наших пращуров: Евангелие нельзя прочитать, друг мой, по нему следует жить. Хотя... – Петр Артемьевич провел ладонью по зеленому сукну стола. – Кто следует этому принципу? Разве что равнодушная к жизни старость...

Далее их беседы за рюмкой коньяку скакали с темы на тему. Граф исподволь погрузил Лебедева в заколдованный мир помещичьих (или, как тут говорили, «пановых») интересов – заколдованный оттого, что и родился, и жил до юности Аркадий в отцовском имении под Чер-

ниговом. Заботы и интересы эти были им давно преданы забвению, но даже несмелое напоминание о них заставляло-таки волноваться кровь, звавшую ротмистра к родовому укладу предков.

– Ну-с, а что касается, голубчик, правды дня сегодняшнего, – в очередной раз меняя тему, отвечал захмелевший старик, осторожно наполняя рюмки, – то убеждение у меня одно-с. Главное для России – национальная идея. Это как родная, кровная семья. Только цельное, непрерываемое служенье Отечеству! Увы, мы – русские – не умеем владеть умом. Не мы управляем мыслью, а она нами. Нам бы только чтоб идеи поярче... ей-Богу, как дикари на стеклярус, а там трава не расти... Хотя, конечно, представить мир идеальным? О нет, от этого сразу отдает чем-то загробным. Вот мы и летим, летим на огонь, стгорая в пепел. Да что там! – Петр Артемьевич в сердцах махнул рукой. – Помилуйте, Аркадий Павлович, кто у нас в России нынче не мнит себя Наполеоном, а? Вот мы все норовим о мужике нашем скорбеть, о доле его черной. Чуть ли не крепость⁷, слышал, с него хотят снять?.. Mais pop! ⁸ Я... столбовой дворянин, офицер, так не считаю! Болтуны! Все pour passer le temps!⁹ Ведь ежели разобраться, копнуть поглубже, голубчик, такой свободы поведения, как у нас, не сыщете ни в Европе, ни в Азии. Уж больно широк душой наш народ, не вред бы и сузить. Ведь как мечтают у нас, господин Лебедев? Только держись – во все зверство природы. Взгляните, к примеру, на немца, тот ежели и мечтать осмелится, то токмо по праздникам великим иль по приказу, то-то! А мы завсегда: и за рюмкой, и на груди возлюбленной, и на плахе, и даже на смертном одре. N'est ce pas, mon cher? ¹⁰ Взять хоть декабрьский бунт, двадцать пятого года... Мыслимо ли?! Уж им-то чего не хватало? И супротив кого поднялись? Супротив Отца своего, Помазанника Божия, Государя! Ну-с, наперед иным наука... будут шпагу ниже держать. Черт бы драл их всех! Икры захотели мужику на хлеб намазать, а плетью вдоль спины, а? Не верю! Все фальшью дышит! Вот вы, вы, голубчик! Ротмистр Лебедев, Аркадий Палыч-ч... Вы сами, лично когда-нибудь пытались заглянуть в очи России? М-м? Так я жду! – Граф, крепко захмелев, опасно качнулся в кресле, но заботы гостя не принял. Тщетно стараясь раскурить дрожащими губами давно потухшую трубку, он одержимо продолжил: – Вот то-то и оно, голубчик, ни черта вы не знаете! И тайна сия велика есть! Знать я превосходно знаю всех «святых» и «мучеников» – наделенных честной и смелой душой, способных мыслить глубоко и пытливо. Ну-с, коли так, давайте обнажим головы! Рылевы, Пестели, Бестужевы-Рюмины, Кохановские... Кто еще? Поплатились жизнью! Другие при «красных шапках» сосланы в Сибирь... Мысли одушевляли их всех: введение конституции в России-матушке, берите больше – отмена крепостного права!.. Крамольники, ну не бред ли, голубчик? И что? Прикажете простить? Помиловать? О-о, нет! Это была бы непростительная снисходительность. Слабость и близорукость, слюняйство, черт возьми! Что делать, господин ротмистр, к счастью и несчастью, люди, увы, идут проторенным, давно известным путем. А ведь это была, голубчик... наша золотая молодежь... цвет и надежда нации... Жаль, до слез жаль... Вы заскучали? Нет? Ах, понимаю, скажете: «Холодов излишне пьян и привел дурной пример»?

Граф обреченно качнул головой, вокруг его сомкнутого рта лежала тень суровой печали. Точно две души было в нем, и когда одна уходила, на ее место заступала другая, всезнающая и скорбная.

– Прямой вопрос, Аркадий Павлович, требует прямого ответа. – Граф стукнул об стол пустой рюмкой.

⁷ «Крепость» – одно из названий крепостного права (*разговорн.*).

⁸ Ну уж нет (*фр.*).

⁹ Ради препровождения времени (*фр.*).

¹⁰ Не так ли, мой дорогой? (*фр.*).

– Боюсь, Петр Артемьевич, мне нечего вам сказать. Окончательный вердикт вынесет история.

– Хм, вы осторожный человек, ротмистр. И это правильно. Возможно, в этом ваша сила.

Оба улыбнулись, и в улыбке проскользнуло что-то враждебное. Теперь хозяин дома уже не горячился и оттого стал по-прежнему строгим и важным.

– Так вот, сударь, я вам отвечу: нет, дело не в том, что я привел вам плохой пример, а потому, что в Отечестве нашем... хорошего мало. А здесь, в Царстве Польском, сами знаете... еще тлеет огонь под пеплом, как волчьи глаза в ночи. Шляхта Радзивилла, и Круковецкого не простила Его Величеству польской крови... Кто знает, что ждет Россию завтра?

Граф вдруг замолчал, откашлялся в скомканный платок, сделал служебное лицо и, грудью подавшись к гонцу, убежденно продолжил. Но Лебедев, смертельно уставший с дороги, уже с трудом понимал сказанное. И по мере того, как Холодов говорил, все замкнутее и суровее становилось лицо Аркадия – словно каменело под градом раздражающих своей бесконечностью слов старика.

– Не худо ли вам, голубчик? – Старик оборвал свою речь на полуслове. Морщины на его щеках порозовели от выпитого; пытливо поглядывая на гостя, он недоверчиво переспросил: – Вы меня слышите?

И вдруг, словно уловив очевидность момента, грохотнул креслом:

– Ах, Господи, не обессудьте, Аркадий Павлович. Вам нужен покой и отдых... Что же это я! Совсем забыл о вас... Идемте, идемте, я провожу...

Они пошли по скрипящему паркету; от зева камина в самую глубину сумрачной библиотеки уходила багровая полоса, и по ней потянулись две черные тающие тени. Дубовые двери щелкнули ключом, шаги гулко раздалась по коридору спящего дома.

– Верите, сударь, в нашей глуши мы привыкли рано ложиться. Но я вот с годами завел моду посидеть с чаем за книгой. А ваше появление... и прежде новость от его высочества... Для нашей фамилии это такая честь! О, не сомневайтесь, ромистр, вы для меня самый из самых... достойный доверия, кто здесь побывал за последние годы.

Лебедева отчасти неприятно задело такое странное откровение. «Как понимать это? Наивность? Снисходительность? Либо тонкий расчет с дальним прицелом?» Однако, сколько он ни пытался ответить на поставленный вопрос, сколько ни вглядывался в гордый профиль хозяина, он не мог отыскать даже намек на какую-то заднюю мысль. Лицо было непростым, породистым, но много открытым. Голос – тоже без утайки: живой, доброжелательный, чуть с трещинкой и одновременно четкий и властный, помнящий былые командные ноты и армейскую ляжку...

– Сейчас налево. Осторожнее, ступень вниз...

Граф поднял шандал выше, дроглые пламя свечей скакнуло в его карих блестящих глазах, а успокоившееся было сердце кавалериста вновь кольнула неодолимая тревога. Ибо в этом беглом, цепком взгляде хозяина он смутно уловил мерцание тайны, сотканной из необъяснимых угроз.

– Вот и пришли. – Петр Артемьевич задержал шаг и поправил сбившуюся туфлю у высоких, крашенных в белый цвет двустворчатых дверей. – Еще раз прошу простить меня за холод первых минут нашей встречи. Знаете, с учетом нынешних настроений нашего пограничья... я, право, редко приказываю открыть ворота своим слугам. Признаюсь – боязно... Лихого народу стало немало... Одно слово – окраина Империи, Царство Польское... Хоть ныне и обращено в русское генерал-губернаторство, а воз и ныне там... Ну-с, отдыха вам и доброго сна.

«Да... милый старик, – переворачиваясь на другой бок, еще раз заключил Лебедев. – Что, он сейчас спит или бодрствует за книгой у себя в кабинете? И все-таки... какой странный дом... Здесь неторопливо, по неписаным законам идет своя жизнь, глухая и чуткая, слепая и зоркая, как сама вечная тревога».

«Лихого народу вновь стало немало... Одно слово – окраина Империи, Царство Польское, – вдруг остро, что укол спицей, вспомнились слова графа Холодова. – Шляхта не простила Его Величеству польской крови... И кто ведает, что ожидает Россию завтра?»

Аркадий наморщил лоб, пытаясь хоть как-то ответить на последний вопрос, но сон, наплывающий медленной и тяжелой волной, взял свое. Лебедев плотнее укутался теплым одеялом. Ощущение заброшенности и одиночества подействовало на него благотворно. Сердце билось ровнее, спокойнее, и тише сделалось дыхание, на устах качнулась счастливая улыбка: «...Наконец-то один, в чистой постели... почти на краю света... завтра еду домой».

Уже сквозь сон ему еще раз привиделся тихо лежащий в коробе крестник, голубые глаза цвета чистого зимнего неба... Чуть позже бледным пятном проплыло лицо графа в обрамлении снежных усов, переходящих в пышные сугробы бакенбардов... Кажется, кто-то прошел мимо его двери, устало и мучительно отпели часы низким боем... А может быть, и никто не проходил, и не отбивали время кудрявые стрелки – просто чудилось от тишины и покоя, может быть... Но Лебедев уж не следил за этим мерным дыханием дома, он спал и радовался во сне, что спит, провалившись в бездонную пропасть теплого забытья и неги.

* * *

Странные минуты, складывающиеся в часы, начались для Петра Артемьевича после появления в его доме ротмистра Лебедева.

– Матерь Божия, Пресвятая Богородица, и вправду небывалое творится на уме, – рассуждал он, вернувшись в свой кабинет. – Думал о вечности, говорил с Богом, замаливал грехи – и на тебе...

Граф поставил на место прежде сдвинутый серебряный канделябр, тряхнул ногтями по синему фарфору чернильницы и сухо, по-стариковски рассмеялся в кулак.

Действительно, до сих пор в его жизни было так: существовало пожалованное Государем за выслугу лет имение, роскошный дом (прежде принадлежавший некоему пану Ярновскому, убитому в сражении во времена Костюшко русскими карательными войсками); была жена Татьяна Федоровна, четыре десятка верных слуг, перевезенных из центральной России, и он сам, отставной штаб-офицер уланского полка, позже на гражданской службе дослужившийся до действительного статского советника. Жило в их доме и горе, вернее, его эхо – светлая печаль о безвременно ушедшем из жизни Александре – единственном сыне. Блестящий офицер, гусар, он сложил голову во славу русского оружия при Гроховском сражении. Жизнь, мысли, сомнения, хлопоты Холодовых заключались лишь в этом круге, попасть в который никому дозволено не было. Но дозволило время. Теперь же, с появлением младенца в их доме, Петру Артемьевичу казалось, что все, решительно все поменялось, встало с ног на голову, наполнилось новым смыслом и содержанием. Ему виделось, что даже земля, небо, окрестные поля и дубравы, его дом – все выросло, стало большим, необъятным и заселилось множеством беспокойных, давно забытых забот, а он сам, ощущавший себя прежде одиноким колоском в поле, по мановению случая очутился в окружении новых надежд и ожиданий. Кануло в Лету одиночество, но вместе с ним разбилось стекло и их спокойного привычного мира.

– Да ж, воистину случай порой вершит дела. Вот и случилось!.. – Граф, весь волнение, подбросил липовых поленьев в зачахший было огонь камина, торопливо сел в кресло, вытянув к очагу ноги.

Теперь все было ясно, как Божий день. Не пускаясь в объяснения с Лебедевым, он знал для себя все ответы.

– Ну как же, Михаил Павлович! Вот и случилось... – путаясь в чувствах, повторил старик. – Долг платежом красен.

В памяти сами собой выткались картины многолетней давности. Вернее, того страшного кровавого февраля, когда к завьюженному дому, скрипя снегом, подъехала блестящая конно-гвардейская свита Великого князя Михаила.

Сосредоточенный, с непокрытой головой, с глубокой печалью на лице, он без лишних на то слов обнял растерянно глядевшего на него графа и крепко прижал к груди:

– Крепитесь, Петр Артемьевич, крепитесь, голубчик. Вы по праву можете гордиться... – голос Великого князя осекся, стал низким и хриплым, – ваш сын герой... и геройски пал на поле брани... Более того, я обязан ему жизнью.

Холодов побледнел как полотно. Судорожно схватил руку князя и, задыхаясь, насилиу выдавил:

– Убит... уб-бит..?

Строгое лицо его жалко, по-ребячьи сморщилось и сразу залилось слезами. Не смея молвить и слова, старик молчал и лишь умоляюще, сквозь дрожащую вуаль слез, смотрел на командующего гвардейским корпусом, точно надеясь вымолить еще хоть какую-то другую правду.

Его высочество сглотнул вставший в горле ком. Зная не понаслышке кровь, пот и горечь войны, ужас сабельных сшибок, он с трудом мог смотреть в покрасневшие от горя страдающие глаза отца.

– Христос с вами, голубчик. Держитесь, граф. В Гроховской мясорубке... у нас убито свыше полутора тысяч душ.

– Да... да... понимаю. – Холодов смотрел куда-то вниз и как будто ничего не слышал. И, продолжая держать князя за рукав, словно выронил: – Об одном прошу вас, Ваше Высочество... Ничего, ничего, ради Бога, не говорите жене.

В это время на пороге гостиной, куда дворецким были препровождены господа, появилась Татьяна Федоровна. Мелко шагая через зал навстречу неожиданным гостям, она странно улыбалась, не зная от волнения и дурного материнского предчувствия, куда деть свои руки. Когда формальности этикета были соблюдены и офицеры расположились за обеденным столом, тягостную тишину зависшей паузы нарушил сам хозяин:

– Ma chera. – Петр Артемьевич, придерживаясь за край стола, поднялся. Сдержанно подошел к жене, стал напротив, в загодя приготовленной позе, заложив правую руку за борт сюртука, другую опустив на ее напряженно застывшее плечо. Секунду, другую они смотрели друг другу в глаза, точно читали мысли, после чего Холодов дрогнувшись голосом повторил: – Ma chera... Таточка, я должен тебе сообщить, родная, что наш Саша... наш сын Александр... – На какое-то мгновение граф потерял дар речи, совсем рядом увидев сразу постаревшее любимое лицо, большие, полные страшной догадки глаза...

Но все случилось гораздо лучше и правильнее, чем полагал Петр Артемьевич. Татьяна Федоровна не сорвалась, не бросилась с рыданиями прочь из зала, не закричала, не сделала чего-то ужасного, чего боялся он сам, чего ожидали сурово молчавшие господа.

– Прошу, продолжай, – оставаясь на месте, чужим, несколько придушенным голосом настояла она, лишь раз испуганно взглянув на брата Государя. Слышно было, как за одним из приборов нервно звякнула вилка, и все опять стихло в гнетущем ожидании страшных слов...

* * *

Прощаясь с домом, Михаил Павлович задержался в кабинете графа, где кратко и четко изложил события гибели Александра. Сосредоточенно внимая по-военному скупым фактам рассказа, воображение безутешного отца рисовало кровавые фрески событий.

В первых числах февраля быстро продвигавшиеся русские колонны вошли в соприкосновение с польской армией, отступавшей к Висле в Варшавский район.

2 февраля произошло досадное, крайне неудачное для нас кавалерийское дело у Сточека, где конно-егерская дивизия генерала Гейсмара была опрокинута паном Дверницким. Русские раздробили свои силы, в результате чего два наших полка были смяты по очереди, даже не приняв удара в сабли. Это первое серьезное дело кампании высоко подняло дух ликующей шляхты.

7-го числа случилось внезапное сражение при Вавре, после которого польская армия отступила на Гроховскую позицию, что непосредственно прикрывала собой, как щитом, Варшаву. Поляки яростно атаковали 1 корпус, бросив в рубку большую часть своих отборных войск; но были взяты на русский штык и лихо сбиты 6 корпусом. Наших участвовало лишь 27 000 человек, поляков вдвое больше. Однако конно-егерские удалыцы браво атаковали польское каре, стяжав реванш за гиблый Сточек, выказав при этом небывалые чудеса храбрости.

А уже 13 февраля фельдмаршал граф Дибич решился атаковать Гроховскую позицию в лоб.

То была жуткая лютая сеча – самая яростная и кровопролитная за все войны русских с поляками. В этом бою бились с озверевшей шляхтой и конногвардейцы Великого князя. Однако, рассеянные жаркой и густой картечью неприятельской батареи, они были загнаны в непромерзшую топь.

Арабской крови жеребец Михаила Павловича, надсадно вытягивая шею и выворачивая налитые кровью белки, увяз чуть ли не брюхо в студеной каше, когда из ближайшего перелеска с гиканьем и свистом вылетело не менее трех сотен польских улан. Все усилия малого охранного отряда его высочества были тщетны... Беспорядочный беглый залп не остановил несущуюся смерть.

А когда рассеялась сизая пороховая гарь, Михаил Павлович различил перекошенные в крике лица улан и холодный блеск солнца на бритвенных остриях пик.

Но есть указующий перст судьбы! Слово с небес на крыльях с правого фланга ударил в сабли по неприятелю эскадрон лейб-гвардии гусарского полка под началом поручика Холодова. Зазвенела, заскрежетала, зло брызгая искрами и кровью, сшибаемая сталь. Пестрые доломаны¹¹ перемешались с яркими мундирами поляков.

– Ваше Императорское Высочество! – Александр Холодов, захлестанный бурой грязью выше груди, теряя простреленный кивер¹², соскочил со своего храпящего орловца. – Скорее, Ваше Высочество! Извольте моего коня! Уходите-е! Мои молодцы их придержат!

Князь не успел раскрыть рта, как в тот же миг над их головами с многоголосым воем и визгом прогудело ядро и, не разорвавшись, жадно чавкнуло сажень в тридцати, бешено фыркающая и вращаясь. Следом цвиркнули пули... И тут ахнуло до глухоты снопом огня и рваным чугунным крошевом.

В памяти Михаила Павловича выжгется лишь взгляд молодого поручика, вернее, его глаза: в них он узрел бездну страдания и безумия. В карих, прежде красивых, а нынче пугающих глазах было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти... В следующий миг гусар рухнул лицом в ледяную черную жижу, а на его спине чуть ниже лопаток сквозь разодранный ментик¹³ сыро блеснуло что-то красное с белым, похожее на пригоршню свежего фарша.

– Ваш сын погиб достойно, как подобает дворянину. Он закрыл меня своей плотью... Так он спас мою жизнь, – склоняя непокрытую голову, закончил Михаил Павлович и положил перед безутешным графом офицерскую ташку¹⁴ сына. А чуть позже, через глубокую паузу, добавил: – Его тело будет доставлено к полудню... похороны и решительно все расходы, прошу не обидеть меня, граф, за мой счет. Я вечный должник вашей семьи. Не откажите...

– Благодарю... за хлопоты... – с выражением усиленного спокойствия едва слышно ответил белыми губами Петр Артемьевич.

¹¹ Доломан – гусарский короткий офицерский плащ с рукавами, отороченный мехом, имеющий покрой полукафтана, с большим количеством пуговиц и позументов; носится внакидку на левом плече.

¹² Кивер – гусарский головной убор, украшенный плюмажем.

¹³ Ментик – короткая гусарская куртка со шнурками и петлями, с меховой опушкой и несколькими рядами пуговиц.

¹⁴ Ташка – кожаная сумка у гусар, носимая на длинных ремнях.

– И вот еще. – Великий князь вложил в дрожащую руку отца раскрытую бонбоньерку¹⁵, на алом бархате которой сверкал точеными гранями орден Владимира с мечами. – Жаль, что посмертно. Награда по заслугам украсила бы его грудь. А это от меня лично на память, в знак благодарности и дружбы.

С этими словами брат Государя отстегнул с портупей саблю, золоченые ножны которой украшали изысканные миниатюры баталий войны двенадцатого года.

– Засим прощайте, граф. Война. Деньги придут вместе с конвоем. Спросите капитана Небренчина.

¹⁵ Изящная коробка, футляр для чего-либо.

Глава 3

– Итак, выбор пал-таки на Виленскую губернию, на мой дом, – возвращаясь к реалиям действительности, резюмировал старик. – Увы, солнце светит лишь в Петербурге... Прелести, красота, ум и талант и Вильне никому не нужны.

Холодов надул в раздумье щеки, потеряв чисто выбритый подбородок, и выдохнул:

– Однако это обстоятельство требует трезвых раздумий. Ведь ежели разобраться по существу, – он вяло улыбнулся, пожав плечами, – под нашей громкой фамилией скрывается забвение и нищета... Черепицу на крыше, конечно, мы не считаем, но... для дитяти, пусть и незаконного, его высочества... Кто знает? Возможно, я многое потеряю, но может статься, и многое приобрету?.. В конце концов, над всеми законами и мнениями стоит Государь, а уж он не преминет проявить снисхождение и лояльность к своему брату и... своему племяннику.

«Р. С. Прежде, семнадцать лет назад, под Гроховым... уж так было угодно судьбе, я «отнял» у вас сына, ныне я вам его возвращаю, граф. Сын мой крещен и наречен Александром в светлую память о том, кто некогда спас мне жизнь».

Близко поднося письмо к глазам, перечитал наново Холодов последние строки Великого князя и бережно уложил послание в конверт.

«Вот уж подарок судьбы, кто б мог подумать, милейший? Еще не знает жена... то-то будет восторгов и пересуд! Боле того, его высочество гарантирует завидное содержание, так в чем печаль? Ах, право, как славно, Таточка будет рада... Так неожиданно и прекрасно».

Петр Артемьевич, зарядив вишневый чубук «турчанки» душистым табаком, выбрал щипцами уголек из камина, раскурил трубку и, шуря глаза котом, сладко затянулся. Прежде чем вернуться в свой кабинет, он проделал путь в бывшую детскую, что находилась в отдельном крыле. Там, у приоткрытых дверей спальни, затаив дыхание, он постоял с четверть часа. В широкий просвет виднелась резная спинка кровати его сына, которая ныне, по его распоряжению, была отведена доставленному младенцу... Рядом на венском стуле сидела Палашка – птичница, дебелая гарная девка лет двадцати, недавно родившая своему Прохору, местному кузнецу, горластую крепкую дочь. Теперь ее полная щедрая грудь баюкала сладким теплом и другое дитя...

«Пир» только окончился, и, заклеванный неудобствами дороги, птенец всецело отдался сну. Уткнувшись розовой щекой в мягкую ложбинку между грудями, он обхватил их ручонками, точно пытался поднять и ощутить вес.

Тихо покачиваясь в такт древнему, как мир, напеву «а-аа-а...», нянька успевала тронуть ногой и вторую, грубо сработанную плотником деревянную колыбель. И что-то тяжелое, обреченно-унылое было в сем тихом, надтреснутом пенье. Слышалась в нем и материнская любовь, и «панщина»¹⁶, и вечная усталость крепостной доли...

– М-да... *sunt lacrimae rerum*, – вспомнились графу строчки Вергилия.

– Так точно – «плачем о жизни», это столь же точно, как и другое: «Не та мать, коя родила, а та, что воспитала».

Заботливо притворив дверь, Холодов тронулся далее, но, проходя мимо голландской изразцовой печи, молча в сердцах ударил по светлой мерцающей плитке. Потом, морщась от боли, вытер платком руку, к которой пристала белая полоска извести, и направился к кабинету. «И все-таки... чего ожидать? Господи, посоветуй мне, и я последую Твоему слову... Что ж мне теперь? Как благодарить судьбу? Ах да, конечно, премного храня секрет своего дела».

Граф выбил горячий пепел, набил трубку вновь. Глядя на причудливый ломкий танец огня, он тяжело вздохнул – прибытие из столицы ротмистра болезненно всколыхнуло память

¹⁶ Местное название барщины.

о погибшем сыне. И опять лицо Петра Артемьевича белело той восковой бледностью, которая напоминала смерть. Волнение души принудило его дрожащей рукой достать из стола альбом, затянутый в темно-зеленый бархат. С побледневших акварелей смотрели его сын, жена, он сам в разные моменты и периоды своей цветистой жизни. На одной странице на вороном жеребце он – алый с золотом уланский мундир, изящный кивер с веселыми кутасами в виде бубнового туза, широкие лампасы, лихая пика в руке, серебряные стремяна... На другой – кроха сын в серебристых кружевах и батисте.

– Нет, нет... мой мальчик...

Старик смахнул с уголка глаза набежавшую слезу; поторопился закрыть альбом и положить его в выдвинутый ящик рабочего стола, где в кожаных папках и лаковых футлярах покоились пожелтевшие документы, описи, тонкие миниатюры на перламутре и пергаментной бумаге. Словом, все то, что осталось и уцелело от славного прошлого и что сохранил последний из рода Холодовых в своем угрюмом, затерянном в лесах и росистых гатях полесье.

В какой-то момент ход мыслей и воспоминаний был прерван едва уловимым детским плачем, но затем все как будто стихло и затянулось немим покоем ночи.

Петр Артемьевич рассеянно посмотрел в черный, без звезд провал окна, схваченный чугунной решеткой и поежился от гуляющих сквозняков, холод которых не мог изгнать даже камин, пылающий день и ночь. Восемнадцать лет жизни в здешних местах так и не дали ни ему, ни его домашним ощущения уверенности, тепла и уюта. И как бы ни восхищалась поэтическая душа этим исконно славянским краем Белой Руси, землей патриарших дубов и вязов, как бы ни возносила она его до высот Византии, для Петра Артемьевича этот край оставался вотчиной смолокуров и пихтоваров, шальной, вечно пьяной и вымирающей шляхты, землей скорбных лириков и волчьего воя, где тихий благовест церковного колокола кажется Божьей милостью, а редкая ладная хата лишь подчеркивает голодную правду крестьян, так похожую на выплаканные глаза беспросветной судьбы.

– Только не бунт, не новая кровь с Польшей! – осеняя себя крестом, молитвенно глядя на Смоленский образ Божьей Матери, дважды повторил Холодов. В памяти встали картины многолетней давности... Тогда он был еще полон сил; тогда в кабинетах государственных мужей России и Европы еще довольно рассуждали и спорили о Венском конгрессе, на котором свершилось бесповоротное присоединение Польши. Варшавское герцогство составило с литовскими рубежами так называемое «Царство Польское», имевшее свое коренное устройство, свою мундирную силу, администрацию, денежную систему и конституцию. Казалось: чего же более, братья и сестры? «Ведь как прикажете без спасительного крыла России, панове?» – тут и там слышались здравые голоса. В те годы многие умные головы знали, а главное, понимали: время блистательной шляхты, предки которой были отмечены Городельским привилем¹⁷, – кончилось, изошло на нет. И если в веке минувшем золоченая шляхта гибла бурно и шумно, с громкими дуэлями или умирала на жухлой соломе среди крыс, вдрызг промотав огромные состояния, то в начале века девятнадцатого ее кончина уже не была овеяна дымкой грусти забытых дворцов и замков в тихих дубравах. То медленно, но неотвратимо наступало новое время, которому был чужд поэтический лад печального панегирика. Панская шляхта вымирала теперь открыто и страшно. То было гниение заживо, под злорадный смех надменных западных соседей, которые, подобно стервятникам, уже парили над растерзанной Польшей в предчувствии богатой тризны и дележа.

И только Россия – ее немеркнущее величие, широта и сила – сумели спасти несчастную Польшу от окончательной гибели. Ан нет, мало было сей добродетели «гónоровой» шляхте, привыкшей жить вольно и широко, капризно хватаящейся по всякому поводу за родовой клинок. Замуровавшись в своих полуразрушенных дворцах, одеваясь едва ли не в прадедовские

¹⁷ Городельский привилей – аналог «Бархатной книги» польской и белорусской шляхты.

кафтаны и домотканые платья, поляки продолжали ревниво кахать ненависть и безграничную спесь. Но если прежде их злость была обращена на весь мир, то теперь, после Венского конгресса¹⁸ она стала уделом России.

«Клянемся на крови, братья! Будут еще у нас москали на локти кишки наматывать», – поднимая кубок, шипела изуверская шляхта. Чаляли паны, не спросив своего простого народа, самостоятельности, полного отрыва от лона России, чаляли жадно, до слепых слез и кровавых клятв, до тяжело наползающего безумия. А потому в разных местах, как грибы после дождя, начали подниматься и бряцать оружием тайные общества. Западная окраина российской Империи в те дни дышала глубоко и часто, словно задыхаясь в том тупом и диком, что называлось национальной идеей, что обвивалось вокруг нее и душило, подобно тугим кольцам невидимой змеи.

В Северной Пальмире, Холодов хорошо помнил, относились к Варшаве как к младшей сестре, тепло и нежно, если не более – с чрезвычайным благодушием и снисходительностью, ей-ей, вплоть до того, что даже запятнавшие честь мундира в деле декабристов польские офицеры и предводители нелегальных обществ были выпущены из-под зоркого ока стражи.

В 1828 году Его Величество Император Николай милостью Божией короновался в Варшаве польским королем, причем вопреки голосам пессимистов и скептиков, опасавшихся покушения на жизнь Государя, торжества эти прошли весьма благополучно. Однако тайная полиция не уставала посылать эпистолы и доносы секретного толка, в которых уведомляла правительство о готовящемся мятеже, об общем революционном порыве Европы тридцатого года, увлекшем и Польшу.

«Вашего Императорского Величества к подножию всенижайший и последний раб с искренним благоговением и подобострастием полагаю свое доношение» – и далее черным по белому: «что де там-то уже видно мерцание тайны глубочайшей и сокровеннейшей от Вашего ока, полной необъяснимых угроз и зловещих обещаний... Там уже звучит громкий шепот крамолы, там слышится до поры скрытый лязг свозимого оружия, скрип артиллерийских лафетов, чугунный стук складированных ядер, а где-то уже впрягают коней в черные без фонарей кареты...»

И, право, сколько на неделе случилось таких злободневных, бьющих в набат срочных депеш! Какие умы, какие головы склонялись над ними! Какой всероссийский штат розыска корпел над каждой: копиисты, протоколисты, регистраторы, архивариусы. Думалось: вот-вот раздастся всеильный монарший глас, и заговорщикам кары небесной не избежать. Но странное, даже мистическое дело – Санкт-Петербург молчал.

А между тем ключом к «огню и крови» послужило именно повеление Императора Николая Павловича польской армии готовиться к походу на Бельгию с русскими войсками. Зажженный фитиль, которого так боялись, был поднесен к бочке с порохом.

17 ноября 1830 года руководимая офицерами и воспитанниками военных воров, ошестившаяся оружием толпа ворвалась в Бельведерский дворец с одним зловещим намерением – убить цесаревича Константина Павловича. Ступени беломраморных лестниц были пачканы кровью русских гвардейцев; православные святыни преданы поруганию: в ризнице вандалы слепили иконные лики сталью и огнем в глаза. «Еще добивали раненых, грабили палаты, а косматый вал, обтекая дворец, уже громил казармы, растаскивал арсенал, ревел диким зверем, почуявшим кровь, жег бесценные манускрипты, картины, крушил канцелярскую утварь. Взлетали, что вороны, превращенные в пепел бумаги, деловые письма, вспыхивали в желтых языках факелов, корчились и оседали черным хлопьем».

¹⁸ В 1814 г. в Вене был созван конгресс для решения вопроса о послевоенном устройстве. По венским соглашениям в состав России перешла значительная часть Польши вместе с Варшавой. Александр I, весьма благоволивший к славянскому соседу, сердечно предоставил Польше конституцию и созвал сейм.

Однако... «Бог милостив, – верхковыми заголовками пестрели в те дни газеты, – цесаревичу удалось спастись!»

Польский сейм под общее ликование толпы объявил династию Романовых низложенной и провозгласил главой правительства Чарторыйского. После горячих споров главнокомандующим с диктаторской властью был назначен князь Радзивилл, а его советником – пан Хлопицкий.

Весь в себе, с застывшим гипсовым лицом, подперев голову, Петр Артемьевич с позиции пережитых лет пытался понять, добраться до сути тех страшных дней истории, которым он был свидетель, в которых его сын принял трагическое участие. И будучи в этот глухой, ночной час один на один с собой, со своей совестью и Богом, он не пытался ридиться в одежды гордости, не искал в себе и того особого, напускного бодрого духа, что, как пламя свечи, спокойно и ровно освещает сумеречье сомнений. Думая о польском мятеже тридцатых годов, не искал он и лживых слов, за которыми прячут люди свою искренность, свои чувства.

И все-таки природная, верноподданическая суть брала верх. Ни разум, ни сердце не желали, не смели соглашаться с теми, кто зрил в подавлении польского мятежа жандармскую карательную правду его Отечества, его обожаемого Государя.

Петр Артемьевич хрустнул пальцами, прерывисто вздохнул, нервно распахнул ворот халата – душно стало от мыслей.

«Пусть мы на краю гибели! Пусть всех нас трижды ждет каторга и виселица! Выбор наш сделан! Отдадим жизнь борьбе против царя-деспота! Долой тирана! Да здравствует Речь Посполитая! Да здравствует свобода!» – с болезненной яркостью вспыхнули в памяти отчаянные и восторженные воззвания пленных поляков. Взятые в бою у Добре, грязные от пороховой гари и крови, в изодранных мундирах, разбитые, но не побежденные, они дерзко смотрели в глаза смерти, когда их вели на расстрел.

– Н-да, было дело... – Граф покачал головой, чувствуя студеную тяжесть ниже груди. – Увы, Россия и Польша идут разными дорогами, и видно уж, никогда пути их не сойдутся. Но, Бог мой! Ужели сей народ не ведает, не отдает отчета, что сам возводит себя на Голгофу? Это же гибель всего великого Привислянского края, потомков славного рода Пястова, рыцарей Людовика Венгерского и озаренного славой союза Ядвиги и Ягеллона – великого князя литовского, что ясен был миру под громким именем грозного Владислава II¹⁹.

Да, это дорога на Эшафот.

Старик упер локти в колени и положил на ладони голову, сразу точно отяжелевшую от безжалостных воспоминаний.

В тот черный тридцатый Великий князь Константин, полагая, что «всякая пролитая капля крови только испортит дело»²⁰, отпустил оставшиеся ему верными польские войска – и

¹⁹ Речь идет об историческом прошлом Царства Польского. Польша – Речь Посполитая – в XV в. считалась самым могущественным государством в Восточной Европе, но с 1795 г. утратила свою самостоятельность и была разделена между Пруссией, Австрией и Россией, к которой отошла большая ее часть под названием Царства Польского или Привислянского края. Как государство Польша возникла, вероятно в IX–X вв., когда князь Мстислав I из рода Пястов взял Польшу в плен от императора Оттона I (963) и ввел в ней католицизм. Характерной чертой Польши является необыкновенное возвышение шляхты, т. е. польского дворянства – панов, которым всячески покровительствовали короли. Казимир III Великий основал для них университет (1364), Людовик Венгерский, вступивший на престол после того, как угас род Пястов, освободил шляхту на вечные времена от всяких налогов и государственных сборов. Наибольшего могущества Польша достигает после того, как Ядвига, дочь Людовика, вышла замуж за Владислава II (1382). Период разложения начинается казачьими восстаниями, закончившимися отпадением Малороссии в 1654 г. Барская конференция, направленная против России (1768), привела в 1772 г. к первому разделу Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Революция 1792 г. дала повод России вновь вмешаться в дела Польши, которая подверглась второму разделу (1793), несмотря на все усилия народного героя Костюшко. Третий раздел Польши (1795) окончательно уничтожил это государство. Хотя в 1807 г. по Тильзитскому миру небольшая часть Польши, отделенная от Пруссии, и была признана независимой под именем Варшавского герцогства, но по трактату 1815 г. присоединена к России, предоставившей полякам некоторые льготы, существовавшие лишь до восстания поляков в 1830 г. (время, о котором идет речь в данном романе).

²⁰ Керсновский А. А. История русской армии. М.: Голос, 1993.

эти превосходные полки лишь много усилили армию мятежников. Крепости Людлин и Замостье были переданы врагу, и цесаревич с гвардейским отрядом отошел в русские пределы. Силы, которыми располагала Россия для усмирения Царства Польского, могли быть доведены до 183 000 человек²¹. Но уж так исстари повелось: русские долго запрягают, зато быстро ездят. В Санкт-Петербурге не были готовы к такому пасьянсу. Для должного сбора штыков и сабель срок требовался немалый. В церквях по всей России ставили свечи – боялись не поспеть; сказывали: «...И пяти месяцев будет мало!» «Корпуса Гвардейский Великого князя Михаила Павловича и второй корпус графа Палена при всей истовости на марше могут прибыть едва ли к весне...» – сообщал в одном из писем домой его сын. А враг, как водится, не дремал и живо стягивал силы. Теперь уж не тайно, не по ночам, а явно, среди бела дня гремели свозимые ядра, лязгала звонкая сталь, скрипели армейские и маркитантские фуры, полные провианта и фуража. «Свобода или смерть!» – слышалось отовсюду. Старики, женщины, дети – все как один в те дни дышали ненавистью ко всему русскому, православному.

Однако дороги на Париж, Берлин, Лейпциг, Рим сплошь были забиты экипажами и другого сорта. То спешно, как стая вспугнутого воронья, горласто и шумно поднималось с мест и разъезжалось дальновидное варшавское еврейство: баулы и корзины, ценная мебель, картины, бронза и серебро, ковры, сторгованные бриллианты, табакерки и золото, саксонский фарфор и английские трости, сахар и перец, аптечные порошки и пилюли, чьи-то фамильные реликвии и ценные бумаги, заложенные от великой нужды, и прочее, прочее, прочее – все загодя, с цепким расчетом вывозилось туда, где не было слышно стонов и канонады, где не было крови и слез, где жизнь обещала быть как прежде сытой, спокойной и с выгодой. Запряженные четверкой экипажи с натугой вмещали пятнадцать пассажиров – набивалось дюжины две. А позади, как на буксире, подпрыгивали и переваливались багажные повозки и тарантасы, пожалуй, единственные сносные экипажи для долгой езды по скверным дорогам.

Холодов поправил съехавшие на кончик носа очки, перелистнул порыжевший от времени газетный лист. Лицо его осталось спокойным, незлобным. Со стороны трудно было догадаться, бодрствует он или дремлет, лишь на глазах в отблеске камина замечались следы как будто скатившихся слез.

За немым окном в смуглой дымке падали и бесшумно оседали широкие хлопья первого снега; в печных трубах завывал ветер, гремел железом карнизов, стонал в голых ветвях деревьев, словно требовал участия к своей гонимой, безрадостной доле.

Граф ниже склонил над страницей голову, морщинистый палец нашел потерянный абзац, медленно пополз вдоль черной вереницы слов.

«К декабрю 1830 года на месте – у Бреста и Белостока – находился один лишь VI корпус барона Розена числом не более сорока пяти тысяч. На марше спешили гренадерский корпус князя Шаховского и первый графа Палена, с резервной кавалерией южных поселений. Главнокомандующим был назначен фельдмаршал граф Дибич Забалканский, начальником штаба – Толь». Продолжая ворошить письма сына из разных мест дислокации его полка и собственные записи, выведенные аккуратным стариковским бисерком, Петр Артемьевич выстраивал шеренгу событий прошлого. Живо радовался победам и огорчался неудачам русских войск.

– Браво, молодцы суворовцы – фанагорийцы и астраханцы, bravo! Тщетно Скржинецкий, стервец, носился на коне пред фронтом своей шляхты, посылая ее вперед. «Напшуд, Малаховски! Рыбиньски, напшуд! Вшистки напшуд!» Шиш вам! Устояли наши орлы, не посрамили честь знамен русских при Остроленке!²²

²¹ В состав данной карательной армии входили: гвардия из Санкт-Петербурга, Гренадерский корпус из новгородских поселений, I и II корпуса из состава 1-й армии, VI корпус – бывший Литовский, III и V резервные кавалерийские корпуса.

²² 14 мая при Остроленке Дибич суворовским переходом настиг отступающую польскую армию и нанес ей сильнейший удар. В этом сражении с русской стороны приняли участие всего 3-я гренадерская и 1-я пехотная дивизия – 15 000 человек.

Однако среди болот и вечно талого снега Царства Польского у русских войск было свое проклятье. Холера косила людей тысячами, поразив своей косою и самого главнокомандующего. 30 мая фельдмаршала графа Дибича Забалканского не стало.

17 июля от той же беды скончался в Витебске цесаревич Константин Павлович. В командование осиротевшей армией временно вступил Толь, но уже 13 июня в войска прибыл энергичный фельдмаршал граф Паскевич Эриванский, и с того рубежа у шляхты воистину начались адовы дни.

Ряд стремительных поражений польской армии окончательно сломил прежде патриотический дух солдат. Даже старшие начальники, которые прошли суровую школу наполеоновской армии, теперь уж не гремели победным смехом и кубками. «Время шкуры спасать, иначе гамон²³ нам всем, панове...» – мрачно нет-нет да и слышалось на биваках. И то было горькой правдой...

В войске польском спеси убавилось крепко, зато появилась тьма дезертиров. Одни, бросив оружие в снег, бежали в русский предел, срывая мундиры, уничтожая знаки отличия, другие тайком уводили впотьмах лошадей, грабили свою войсковую казну и бежали пытаться удачу в Европе. Среди павших духом, измученных болезнями и голодом бойцов открылось повальное пьянство. Сбившись, как крысы, они целыми часами просиживали у дымных костров, сбросив опостылевшие ремни и тяжелые свинцом армейские ранцы... Но пили солдаты уже не за своих кумиров и генералов, а за сиюминутное время, дарующее им краткое забытие, радость объятий таких же пьяных и грязных обозных шлюх, в широких подолах которых они засыпали или рыдали, как дети... Теперь они поднимали фляжки за быструю смерть и радовались, если в миске дымилась хотя бы последняя картошка, а пальцы держали по случаю кусок черного, как земля, сухаря... Но даже в безудержном пьянстве души больше чем многих не находили покоя: точно между смертью и ними протянулись тонкие, как паутина, нити и соединили их прочно и навсегда. И если они, гонимые, уйдут хоть на край света, скроются за высокими стенами укреплений или умрут, то и туда, в темень сырой могилы, потянутся за ними эти тонкие, липкие нити беспокойства и вечного страха.

И не были бемятежными их безлунные ночи; бесстрастными казались лица спящих, но под киверами и касками в кошмарных бредовых снах кроился чудовищный мир безумия, и всевластным владыкою его был все тот же загадочный, пугающий своей непобедимостью русский солдат.

Лето тридцать первого для Польши выдалось «жарким». Изнеженная Варшава была охвачена паникой, и Скржинецкий был заменен Дембинским.

3 августа произошел переворот, президентом агонизирующей Речи Посполитой был назначен пан Круковецкий, и Сейм подчинил главнокомандующего правительству. Возмущению Дембинского не было края. Не желая этого подчинения, он немедленно подал в отставку и был замещен Малаховским. Польша затаила дыхание; как под топором палача, ее голова, ее самостоятельность и конституция, ранее сердечно подаренная Александром I, лежали на плахе великой России. Предстояла последняя битва. Битва за Варшаву, которая ставила жирную точку в сей кровавой резне славянских народов.

6 августа армия Паскевича, доведенная до 85 000 человек, плотным кольцом обложила Варшаву, которую защищало 35 000 поляков, не считая корпуса Ромарино, действовавшего самостоятельно. Император Николай Павлович повелел Паскевичу предложить восставшим амнистию, но Круковецкий презрительно отверг эти «унизительные» условия.

²³ Гамон – конец, смерть.

Тогда переговоры были стремительно прерваны, и 26 августа, в славную годовщину Бородин, Варшава была взята кровопролитным штурмом. Приступ, начавшись на бледном расвете 25 августа, длился 36 часов²⁴.

Так была взнудана и усмирена Государевой волей ретивая Польша. Ее конституция была уничтожена и заменена органическим статутом. Царство Польское обращено в русское генерал-губернаторство, получив отныне то же административное устройство, что и прочие области Российской Империи. Сейм и национальные войска за ненадобностью были распущены. Генерал-губернатором был назначен Паскевич, стяжавший за взятие непокорной Варшавы титул светлейшего князя Варшавского.

Сам же Император Николай I не находился в то время среди штандартов и дымных биваков своих чудо-богатырей, о чем крайне сожалел и печалился. Занятый в тот сложный, тяжелый для Отечества 1831 год внутренними делами страны, он тем не менее горячо поздравил Паскевича князем Варшавским, искренне сетовал в послании: «Зачем я не летал за тобой по-прежнему в рядах тех, кои гордо мстили за вероломно поруганную честь России... больно, право, носить мундир и в таковые дни быть приковану к столу подобно мне, несчастному»²⁵.

«Что же до горе-поляков, – писали газеты, – то, переходя к оценке их действий, нам должно перво-наперво отметить полнейшее отсутствие какого-либо политического глазомера у их вождей. После взятия Варшавы, когда уже все было потеряно, с ними все-таки еще разговаривали, их еще признавали воюющей стороной. Казалось, им бы надо ценить это обстоятельство и стараться лояльным, смиренным выполнением условий перемирия сохранить последние крохи польских вольностей, тем паче что с 20-30 тысячами разбитых к тому же войск смешно думать осилить Россию и ее гвардию... Увы, Речь Посполитая сделалась жалкой жертвой и заложницей безрассудного шовинизма Круковецкого и его окружения, вероломство которых бесповоротно погубило поляков в глазах Государя и не могло не восстановить оно супротив себя. В действиях шляхты – напрасный труд искать и намек на какой-либо государственный расчет... Ею владела и владеет лишь слепая ярость и дикое, истерическое упрямство».

Петр Артемьевич отложил письма, газеты, закрыл свои записи и посмотрел на клинок, висевший в золоченых ножнах под портретом погибшего Александра. Глаза старого графа, как и в тот день, застелили слезы. Выйдя из-за стола, трясая каждой складкой своего английского халата, каждой морщинкою лица, не замечая, как он сам страшен в мертвенной бледности, как нелеп в своей вымученной твердости, старик подошел к реликвии дома и, взяв ее в руки, припал устами к рифленому холоду ножен.

– Са... Саш... Са... Сашень-ка-а... – повторил он, не сдвигая губ. – Ты, мой милый... мальчик... Ты, – отец не позволил себе даже мысленно сказать «был», – ты... благородный человек... Прости! Прости нас, что мы с матерью пережили тебя... Почему не я?.. Почему ты в земле... Господи, прости же меня...

Граф целовал сталь, точно это было лицо его сына, и старческие, отвыкшие целовать губы слепо искали молодых свежих уст, чтобы с родительской теплотой и жадностью припасть к ним.

Когда же отчаянье отца схлынуло, он повернулся к иконе, смиренно встал на колени и, внимательно вглядываясь в печальный, строгий лик Создателя, горячо зашептал:

– Господи, спаси и сохрани! Помяни души усопших рабов Твоих, родителей наших и любимого сына моего Александра, и всех сродников по плоти; и прости их все согрешения, вольные и невольные, даруя им Царствие Небесное... Подскажи мне праведный путь очищения сердца и умиротворения души... Дай силы понять и осмыслить причины скорби моего

²⁴ На приступе участвовало 71 000 человек с 390 орудиями. У поляков, отчаянно защищавшихся, было 39 000 человек и 224 орудия. Наш урон – 539 офицеров, 10 005 нижних чинов. Сам фельдмаршал Паскевич был контужен ядром. Поляки потеряли 7800 убитых и раненых, 3000 пленных и 132 орудия.

²⁵ Керсновский А. А. История русской армии. М.: Голос, 1993.

многострадального Отечества!.. Моих собственных неудач и падения... Я знаю, Ты можешь указать способы выхода! Вопросы эти равно существенны и судьбоносны, как в жизни отдельного человека, так и в народном, соборном бытии. И, право, в нем решительно не будет должного лада, ежели молчит совесть, нет покаяния, ясного, разумного идеала, к коему следует стремиться – с чего сие движение начинать и где искать помощи. Помоги внести в господствующую тьму сомнений пусть малую, но немеркнущую путеводную искру православия, помоги уверовать в завтрашний день русского возрождения!

Ужели неправые речи святых отцов, что причин для уныния и отчаянья у нас нет?! Напротив, всяк знающий русскую жизнь не по романам и вензелям газетных сплетен не может не понимать, что именно в годину испытаний Ты – Отец наш Небесный – даруешь нам возможность начать возвращение из трущоб духовного варварства... Господи, спаси и сохрани!

Верую – есть у нашего народа и Государя – есть все для того, чтобы это возвращение состоялось. Верую – живет в русской крови привычка к напряженному внутреннему труду, крепкий, нерастраченный запас державной мощи и соборной любви!

Так пошли же нам, Господи, разум истинный, просвети наши очи внутренние благодатью Духа Твоего Святаго! Молю Тебя, даруй нам всепобеждающее смирение – что не есть безвольное подчинение злу, но есть сила – могучая и трезвая, способная сохранить мир и покой осмысленного бытия перед лицом охвативших нас ныне мятежей, смут и волнений. Аминь.

Глава 4

– Убили! Убили-и-и! Где? Где-е? Покажите мне его!!

Гневливый стук каблуков, гроыхание распахиваемых под ударами дверей и стремительно приближающиеся заволошнные крики прислуги обожгли слух Аркадия, вырвали из сладких объятий сна.

– Черт! Темнота – хоть глаз выколи! Который час? – Скрипнув зубами, Лебедев резко приподнялся на постели, опершись локтями в дышащую нагретым теплом перину. – Что за переполох? Сумасшедший дом...

Плохо понимая спросонья происходящее, Аркадий раздраженно тряхнул включенной головой, окружив себя скрипом звенящих пружин и шелестом кружевного белья. Он собирался уже опустить босые ноги на ковер, чтобы оживить свечу, когда разнорой каблуков и возгласов взорвал покой коридора, а еще через миг-другой двери спальни, не выдержав ударов, распахнулись, впуская скачущий свет свечей и темные силуэты дворни.

– Не дергайся, ирод! Забью! – Топорище колуна придавило грудь Лебедева. В нос шибануло запахом пота, мешковины и дегтя. Здоровущий, ладно скроенный, с загорелым обветренным лицом и шеей мужик опрокинул драгуна на постель. Длинные, грубые, что конский волос, усы делали его лицо лютым. – А ну, сволочь, р-руки упокой! – Две гневливые морщины меж бровей обозначились жестче, широко поставленные глаза впились в лицо офицера.

Аркадий захрипел от боли, хватая ртом воздух, на обеих руках повисло по гарному хлопцу.

– Вот... он, матушка! Взяли волчару! А ну-тка, поддайте огня! Расступись, расступись! Пожалуйте, барыня, на убивцу взглянуть. Эва, зубье скалит, зверь!

Вокруг зашарашили, забегали люди. Там и здесь в люстрах и в светильниках вспыхнули свечи – их было маловато для света, но довольно, чтобы на стенах вытянулись глубокие тени. Всюду объявились они: встали в углах, протянулись по белому лепному своду, хватко цепляясь за каждый рельеф.

– Да отпусти-те же меня? Р-руки, мерзавец! Что за вздор несет этот болван? – внезапно окрепшей мыслью взорвался Лебедев. – Где граф! Я требую!!

– Эт мы у тебя теперича требовать да пытатть станем!

Ротмистр со вздувшимися на шее и лбу венами, теряя последние крохи терпения и разума, бешено рванулся от подушки. Но то, что ухватил его затравленный взгляд, заставило Аркадия замолчать.

Мятущийся свет свечей расплескался тревожными волнами по мрачным стенам и угрюмым лицам толпы. Но из всей этой дышашей ненавистью и враждой массы он выхватил лишь одно бледное восковое лицо в обрамлении седых разметавшихся волос и два бессмысленных глаза, уставившихся на него.

Пленник застонал, не имея сил шевельнуться, тряхнул досадливо головой, словно хотел прогнать прочь видение, но старуха, ряженная в старомодный просторный капот, продолжала поедать его жутким взором. Графиня смотрела на Аркадия, вернее, не на него, а куда-то сквозь него, настолько бессмысленным и безумным был ее опаленный горем и отчаянием взгляд. Он словно видел насквозь и в то же время не замечал.

– Графиня, позвольте объясниться! Я... – задушенный топорищем мужика, взволнованно начал Лебедев, но был прерван старухой:

– Нет, нет... Это не так... Нет, совсем не так! Этого не может быть! Избави Господи... за что? Зачем вам... молодому человеку, это?! – кусая морщинистые губы, зарыдала она. Лицо Татьяны Федоровны смялось, заколыхалось, стало мокрым и диким. Выцветшие глаза дрожали слезой, дыхание сделалось чаще, короче и громче. – Убий-ца! Убий-ца-а! Невинная кровь на

тебе! Будь проклят! Петенька, Пе-тя! Господи, на кого ж ты оставил меня?! Забери, забери меня с собой!! – Что-то скороговоркой шепча, истерично потрясая маленькими, как ссохшиеся яблоки, кулаками, натываясь на ждущую ее приказаний челядь, старуха бегло ощупывала их плечи и лица костлявыми пальцами, оборачивалась вперед и назад, точно искала поддержки и никак не могла найти.

– Татьяна Федоровна! Матушка-благодетельница наша! По приказу вашему Антипка, сын Тимохинский, верхами в уезд слетал. С его благородием – с паном урядником возвратился. Прикажете-с просить?

Осип, ливрейный слуга, накануне принимавший сырой плащ Лебедева, юркнул из-за двери и, клянувшись губами графиню в плечо, замер, подобострастно склонил голову, поглядывая исподлобья на барыню. Та посмотрела на плешивого, похожего на откормленную крысу служку, не разжимая искусанных губ. Исплаканные глаза ее смотрели мертво и проникновенно, глубокие, как омут.

– Зови же, Осип! Чего ждешь?! – с трудом сдерживая судорожное рыдание, наконец разродилась она.

Аркадия подняли рывком и встряхнули, как пустой мешок, поставили лицом к стене. За спиной холодно звякнуло оружие.

– Нехай отдышится, а то задушишь его, Антон.

– Пошел! – гаркнул сиплый бас конюха. – Сейчас тебя ощипают, гуся. Его благородие пан урядник враз расколотит, что ты за птица.

– Но, но, полегче! Не трогать его! Простите, графиня, служба... Попрошу всех выйти, оставьте нас одних. Одевайтесь, ротмистр. Влипли вы, сударь... Гнусная история, скажу я вам.

Аркадий порывисто обернулся, в нескольких шагах от него стоял плотный, с недовольным, обрюзгшим, скверно пробритым лицом урядник, а чуть далее, за его двухаршинной спиной серыми силуэтами вырисовывались фигуры конвоя.

– Который час? – Лебедев, раздраженно растирая грудь, подошел к стулу, на котором лежал мундир.

– Рассвет... скоро пятый час, одевайтесь.

В опустевшей спальне резко пахло солдатским сукном, крепким запахом дешевого табака и мокрых сапог.

Неторопливо, с достоинством облачаясь в мундир, Аркадий Павлович был спокоен, но более серьезен, столь велико было его презрение к полицейским чинам и вообще ко всему этому недоразумению, что ему не хотелось ни лишним словом, ни притворной улыбкой бодрости подчеркнуть свою смелость и правоту беспричастности. Он был ровно настолько уверен и сдержан, насколько необходимо для того, чтобы оградить свою душу и офицерское благородство от чужого злорадного глаза.

– Урядник, – застегивая последний крючок ворота, все же не удержался драгун. – Вы наконец соизволите, любезный, объяснить мне, что все это значит? Какого черта и по какому праву вы все тут вламываетесь в мою спальню и устраиваете дешевый балаган?

– Сдайте оружие, – точно не слыша вопроса, мрачно надавил тот, передавая своему подручному офицерский палаш и револьвер Лебедева. Затем цепко, но без зависти, мазнул статного ротмистра взглядом, неопределенно покачал головой и по-житейски хмыкнул: – Выпить... хотите? Рюмку?

– Да идите вы к черту со своей рюмкой! На службе вы или на святках?

Аркадий обжег брезгливым взором опухшую с перепоя вишневою рожу жандарма и, независимо заложив руки за спиной, уставился в робко светящее окно.

– Да на службе я, на службе, – отмахнулся урядник. – Ну-с, как хотите... А я без согревус, простите, не привыкший... Я вот из-за таких, как вы! – двадцать верст по холоду и дождю в ночь, глаз не сомкнув, мать вашу... Эй, Панас!

– Рад стараться, Клим Тимофеич!

В латунном «маршевом» стакане призывно забулькало, зажурчало...

– Может-таки... выпьешь, служивый? Глупо гордеть да бояриться... Ой, гляди... Поверь Ракову. – Урядник тыкнул себя в грудь мозолистым бурым пальцем. – Кто в участке, на подвале еще предложит? – Глаза его без лукавства уставились на Аркадия. – Я погляжу, ты из настоящих, не из штабных пудрениц, голубь.

– Молчать! – Лебедев вспыхнул, как порох. – Ты мне не тычь, пес! Я тебе не «фрукт» и не «голубь», а ваше благородие, сволочь!

– Были, – согласно кивнул Раков и, не обидевшись ни на миг, добавил: – А теперь мой постоялец... до решения судебного пристава. Так будете, ваше благородие? Я последний раз с пониманием...

– Сказал же – нет! Не могу.

– Как это «не могу»? – не унимался урядник. – Не может только непорочная девка, да и та быстрехонько соглашается.

У дверей вместе с урядником хрипло гоготнул конвой.

Тот, кого нарекли Климом Тимофеевичем, признаться по совести, весьма жаждал изловить злодея или душегубца. Желание это было столь же заманчивое и понятное, как невзначай сыскать тугой кошелек. В данном раскладе первое было залогом второго. Да и кто, право, мог осудить Ракова? Дома, в уезде, в не ахти какой просторной хате осталось полдюжины ртов.

Уже ходко шел второй десяток лет с тех пор, как Раков Клим Тимофеевич вот таким же образом по вызову или по сигналу осведомителя мчался на место преступления. Попав переводом в Белостокский уезд, в заштатный, вечно залитый дождем и слезами гнилых склок городишко, где унтеры и офицеры столь живучи, а подъем по службе столь медленен, Раков тем не менее духом не падал, во всем пытался искать хорошее, нужное. Но истаяли годы, а все оставалось по-прежнему, и Климу Тимофеевичу усиленно приходилось напрягаться, доказывая себе, домашним и окружению, что дышится и живет ему куда как неплохо, и так, собственно, жить и следует. Увы, доводы урядника принимались через пень-колоду, покуда он не обзавелся верным союзником и другом – графином. Когда по хмурому утру, сполоснув лицо и натянув выстуженные за ночь опостылевшие сапоги, Клим Тимофеевич опрокидывал «маршевый» стаканец, а то и другой, все становилось ясным и замечательным.

Обо всем этом Лебедев, понятно, знать не знал, однако ко всему происходящему обнаруживал то смягченное сквозь дымку раздражения любопытство, которое свойственно цельным сильным натурам.

– Что хоть у тебя? – Аркадий через плечо посмотрел на прозрачную лимонного цвета жидкость.

– Хо! – оживился Раков. – А ну, придержи дверь, Панас. Старка ляхская, – урядник чмокнул темными губами стаканец, – здешняя, родного настоя, вижу, не пил? Пейте на здоровьице, ваше скобродие, потом извольте руки белые подать... Эй, Панас, сготовил веревку?

Кошки дюже скребли на душе, и Лебедев, не в силах справиться с дурным предчувствием, перекрестившись, залпом опрокинул поднесенный стакан. Настойка обожгла нутро, разругала лицо:

– Ну и отраву вы тут пьете. – Аркадий отдал стакан и, не сказав боле ни слова, вытер губы, точно ему хотелось уничтожить и след своей покорной уступчивости.

Со связанными за спиной руками, в сопровождении конвоя Лебедева препроводили в кабинет графа, где выдержка и воля изменили драгуну.

На столе лицом вниз, в ворохе бурых от крови писем и бумаг лежал зарубленный граф.

На бледном лице ротмистра сыграли желваки. Все происходило точно во сне, и все фигуры: и урядника, и конвоя, и набившихся слуг, и графини – виделись странно знакомыми, равно как все действие вокруг казалось также давно знакомым, уже некогда бывшим... Но когда

Лебедев останавливал взгляд на чем-то лице или каком-либо предмете, то все поражало его чужой новизной и тревогой.

Только сейчас окончательно осознав, что сделался заложником некоего чудовищного замысла, он на время потерял дар речи. «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного...» С внезапной острой тоскою в сердце Аркадий понял, что не будет ему ни сна, ни покоя, покуда не пройдет этот проклятый, выхваченный из циферблата, черный час. В доли секунды увиденная им во всей своей наготе правда едва не лишила его воли. «Что же это? – Горячая мысль обожгла голову, выстудила грудь. – Это же каторга...»

– Ну-с, и как вам? – точно, читая мысли драгуна, раздался рядом сиплый голос урядника. – Никому не хочется начинать этот разговор, но кто-то же должен.

– Да вы что? – Аркадий нервно рассмеялся и открыто посмотрел в глаза Ракову. – Неужели вы серьезно полагаете, это моих рук дело? Вы что же... и вправду вознамерены подозревать меня... боевого офицера?.. Побойтесь Бога! Да вы знаете...

– Я знаю одно, – отрубил помрачневший урядник, – что ныне Бог на стороне тех, кто его отвергает! И довольно! Вы лично... можете что-то сказать в свое оправдание? Ну-с?!

– На это?.. – Лебедев растерянно, как тонущий, не умеющий плавать человек, отрицательно качнул головой. – У меня нет ответов.

– Так попытайтесь их найти! И без глупостей!

– Я же сказал вам – ничего не знаю. Я спал!

– Тогда потрудитесь рассказать, что знаете, черт возьми! – раздраженно прикрикнул урядник, часто прихлебывая из стакана горячий, крепкий чай, поданный по его хмельной просьбе. Стакан был вставлен в серебряный, потемневший в узорах подстаканник и мелко, противно звенел в дрожащих пальцах.

– Да пошто с ним гутарить, пан урядник?

– В острог его! Ой, матушка-государыня наша, Татьяна Федоровна! Горе-то, горе какó! Петра Артемьевича – заступника нашего!! Убили-и!!

– Добром да укором с таким зверем не разберется, в острог его! – заколыхалась, заголосола, как разбуженный лес, толпа.

– Экий вы дурак, братец, – тихо, едва слышно, пыгливо глядя в глаза Лебедеву, буркнул Раков, продолжая жадно давиться кипятком. – И лицо не воротите, голубчик. Не курица, его сиятельство граф убит. И подозрений с вас никто не сымал. Это дело – до обеих столиц докотится, будьте уверены! Думайте, ротмистр, думайте, без алиби никак-с, пустое... Чистый эшафот... Впрочем, время в дороге у вас еще будет... Да и не мое это дело... Без судебного пристава тут не разобратся... Ладно, ступайте. Эй, Панас, спроводи!

Еще раз промерив хозяйским шагом кабинет, обойдя массивные кресла, с разных сторон полюбопытствовав на рубленую рану, что черной глубокой трещиной шла через всю голову покойного, урядник наморщил взявшийся испариной после чаю лоб, подозрительно пошевелил щеткой усов и боднул вопросом графиню:

– Так значит, вы настаиваете, милейшая Татьяна Федоровна, что ровным счетом ничего не пропало... Тэк-с, тэк-с... Стало быть, ни грабеж, ни воровство... Хм, любопытный завив. Тут, знаете ли, голубушка, дело сыска, а не конвоя... однако не волнуйтесь, по возможности все передам, доложу, разберемся. Только одно держите подо лбом: двери закрыть на ключ, никого не впускать, и до приезда господина пристава ни-ни! Чтоб ничего и пальцем не смели тронуть! Иначе все дело насмарку! А вас, – Клим Тимофеевич обвел бульдожьим налитым взглядом притихшую челядь и, погрозив волосатым кулаком, рывкнул, – всех под статью подведу, ежели что... Засим прощайте, графиня. Мои соболезнования...

* * *

В крытом черном экипаже было жестко, тесно и холодно; вновь крепко шибануло прелым армейским сукном, навозом и отсыревшей кожей. Раков, чинно и тяжело угнездивший место,

восседал напротив Лебедева и, основательно набивая трубку, жарко дышал на него запахом перегорелой водки и неистребимого дешевого табаку.

В щель плохо запираемой каретной дверцы насилу пробивался холодный по-зимнему воздух, и от этого в тесном жандармском возке унылая тусклая осень ощущалась еще явственнее и острее, нежели снаружи.

«Вот я и исполнил поручение его высочества... – закусив ус, с насмешкой резюмировал Аркадий. – Кому я этим навредил?... Разве что себе...»

Согревало душу одно: на груди у него, как некий драгоценный кусочек истины, покоился великокняжеский вензель дома Романовых, и ротмистр, не бросаясь с головой в омут отчаянья, повторил сердцем: «Как перед Христом, крестник, пробьет час, когда мы увидимся снова».

Карета, подпрыгивая на выбоинах и рытвинах, вывернула на дорогу и уверенно загремела вдоль мглистого прозрачной сиренью рассвета парка. Иногда на повороте или крепком подтрясе согнутое колено Лебедева совсем по-приятельски шеркалось о такое же согнутое колено полусонного урядника, и сложно и трудно было уверовать в произошедшее.

– Урядник, – Аркадий выше поднял голову, вглядываясь в широкое усатое лицо, – вы часом не задавались вопросом, куда делся мой возница, что прошлым вечером доставил меня в дом Холодовых? Где лошади? И чем в конце-то концов был убит несчастный старик?

– А что возница? – Мордатый унтер на миг сконфуженно слохматил брови. – Получил расчет, и ищи ветра в поле... О чем тут готовы-то ломать? Экий вы ловкий, брат. Ну-с, а чем был зарублен граф – то штука нехитрая.

Клим Тимофеевич победно похлопал широкой ладонью по конфискованному палашу и, довольно крикнув в кулак, сытожил:

– Впрочем, мне что за дело, голубь, без судебного пристава тут не разобраться... Жизнь, ваше скобродие, есть мерзкая, но занятная штука. Вопрос верного выбора, ежели угодно-с. Живи, покуда живешь. Вам курево оставить? – Раков с проснувшимся вновь добродушием протянул старый засаленный кисет.

– Если не трудно... Обещайте мне, господин урядник, устроить встречу с вашим начальством. – Лебедев оставил любезность Ракова без внимания.

– Экий гордец. – Клим Тимофеевич, несколько осердившись, сунул кисет в карман и, дернув усами, кашлянул. – Я, знаете ли, ни денег, ни обещаний в долг не даю... но вам сделаю исключение – дам слово, – тяжело вздохнул Раков, точно совершил какое-то определенно трудное дело. Заскорюзлые пальцы его вовсе без пути прошлись по тусклым пуговицам мундира.

– Слово жандарма. – Лебедев двусмысленно усмехнулся, не сводя глаз со своего конвоира.

– Ну будет, будет! – колыхнулся всем корпусом Раков. – Эт все же лучше, чем ничего. И смотрите у меня, без глупостей!

Глава 5

...Хмуро было на душе ромистра Аркадия Павловича Лебедева по дороге на Кавказ, однако с просветом надежды. Низкий поклон ангелу-хранителю. Господь миловал миловал от позора чести – дело по убийству графа Холодова разрешилось... Но сеть всегда с прорехой. Весть о сем диком факте птицей долетела и до столичного общества. Из разговоров, предварительных следственных отчетов и прочих показаний «свидетелей», которыми пестрели газеты, фабриковалось общественное мнение по старому российскому принципу: «У меня сегодня радость – я соседу сделал гадость». Итог: в судьбе Лебедева случился вынужденный выход из полка. Слава его величеству случаю: обошлось без суда – и все благодаря несчастной графине-вдове, которая успела через слуг оповестить судебного пристава о пропаже дарственного клинка. Для виленской полиции ясно было одно – дело это темное... и кто знает, какой узел бы затянула Фемида, если бы не своевременное вмешательство в эти композиции сильных мира сего. Окончательную точку в мытарствах Лебедева поставила срочная эстафета от его императорского высочества Великого князя Михаила Павловича.

Нарочный едва дотянул загнанную до горячего пота лошадь до следственного управления, где та рухнула посреди двора на передние ноги, потом на бок и, отрывисто захрипев, издохла, глядя стекленеющим глазом на забрызганные слякотью сапоги караульного.

– Потому и издохла, ваш бродие-с, что на казенном пакете, извольте-с видеть, вензель царский стоит, – запыханно доложил нарочный. – Стало быть, и гнал ее, окаянную... последние полста верст без продыху.

После изучения послания взятому под арест ротмистру без проволочек было возвращено оружие, принесены невнятные извинения, а сам он отпущен на все четыре стороны.

...Два месяца спустя, по возвращении в столицу, у Лебедева состоялась встреча с его высочеством в Михайловском дворце на Итальянской.

* * *

Над Невой стояли бледные сумерки, похожие на белую ночь, кутая золотые купола и шпили великого, призрачного города сиреневой дымкой. Младший брат Императора, затянутый в темно-зеленый вицмундир, спокойным шагом прохаживался по огромному, как плац-парад, кабинету, в котором торжественно горело свечами золоченое кружево многорожковых канделябров, и, чуть склонив голову набок, словно прислушивался к чему-то.

Остановившись у высокого трехстворчатого окна, он гадательно посмотрел на яркий свет шандалов, который рассеивал сочившуюся из-за тяжелых портьер бледную сукровицу вечера. Затем чуть откинул узорчатый шелк и заглянул в проем. На сером граните ступеней его дворца стояли парные часовые. Талый ветер трепал плюмажи на высоких киверах верных гвардейцев. Те располагались и по всему дворцу, по всем анфиладам, залам и лестницам, точь-в-точь как и у его августейшего старшего брата. Разница была лишь в том, что в Зимнем дворце размещался целый гвардейский полк преображенцев, у него на три роты менее, но так ли уж это важно? «Порою награды и безграничная власть не только украшают, но и укрощают», – подумал Михаил Павлович и, отпуская скользкий на пальцах шелк, вспомнил античную заповедь: «Чрезмерная уверенность в себе становится причиной всяких больших бед». Вот уж воистину чего следует бояться монархам. Тому пример визгливая Европа, а паче Франция. Недаром их мудрый Талейран²⁶ замечал: «Настоящий честолюбец даже собственный Эшафот рассматривает, как пьедестал».

²⁶ Т а л е й р а н -Перигор Шарль-Морис (1754–1838) – князь Беневентский (1860), герцог Дино (1817), французский государственный деятель; с 1788 г. епископ Отёнский, член национального собрания, министр иностранных дел (1797–1799), главный советник Наполеона по иностранным делам до 1809 г.; после реставрации Бурбонов снова министр иностранных дел; оказывал влияние на европейские дела, тонкий дипломат и блестящий оратор; оппортунист, менявший неоднократно свои

Впрочем, политика, равно как и меткие замечания мудрых мужей по тому или иному поводу в этот час мало занимали его государственный ум. Его незаконнорожденный сын, жуткая трагедия, разыгравшаяся несколько месяцев назад в доме старого графа Холодова, неожиданный арест доблестного слуги, который с честью исполнил его личную просьбу – вот те стрелы, что огнем жгли грудь главнокомандующего гвардейским и гренадерским корпусами.²⁷

Он живо припомнил то уже забытое, но пылкое влечение к милой френцуженке *mademoiselle* де Ришар, которое закончилось весьма неожиданным, но закономерным финалом. «Что ж, в основе всех великих страстей лежит прелесть опасности – так, кажется, рассуждают французы? – усмехнулся Михаил Павлович, отходя от окна. – Однако не следует предаваться сожалениям о прошлом, жаловаться на перемены, которые нам в тягость, ибо перемена есть условие жизни. Что же до пересуд и скандалов при дворе, то часть их обычно остается в тени. И это всегда лучшая их часть. Вот вам и «правило тени» в действии». Между тем, его тривиальная история с бриллиантовой брошкой-шифром²⁸ – фрейлиной Императрицы m-lle де Ришар едва ли более давала повод для скабрезных сплетен в обществе, чем какая другая. Взять хотя случай с m-lle Нелидовой, что долгое время была в близких отношениях с его царственным братом²⁹. Здесь тоже не обошлось строеньем глазок... Причиной ее падения не тщеславие, не корыстолюбие, не честолюбие; она так же, как и его возлюбленная, была увлечена чувством искренним, хотя и греховным, и никто даже из тех, кто осуждал это право, не мог отказать ей в уважении...

Дальнейшая судьба таких дворцовых особ, после ухода «со сцены», устраивалась по обыкновению весьма не худо, и многие фрейлины, если не все, только мечтали о такой альковной карьере. Бывшие фаворитки, будучи уже в тени, нередко ссуживали немалые тысячи в Инвалидный капитал³⁰, продолжали активную светскую жизнь или, напротив, удалялись от общества, так что встретить их способно было лишь во дворцовой церкви, где они ежедневно бывали у обедни.

Перед мысленным взором Михаила Павловича соткался нежный образ его бывшей фаворитки: юная френцуженка с покатыми обнаженными плечами, красивая особенной фарфоровой красотой светских дам восемнадцатого века. Правильные черты, нежный овал, густые волосы двумя черными крыльями ниспадали на уши и закрывали их.

Вспомнил он и тот день, когда эта миниатюрная френцуженка, о грации и походке которой он любил говорить: «*Sie geht nicht, sie schwebt*»³¹, родила ему сына. Княгиня Салтыкова зашла к нему около шести утра, крайне взволнованная, и объявила, что у m-lle де Ришар родился мальчик. Будучи отцом уже пятерых законных дочерей, Михаил Павлович испытал сложное, доселе неизвестное ему чувство. Беспокойная радость бежала под руку с горьким отчаяньем правды: *l'enfant* сей являлся *bâtard*... а стало быть, и судьба его была предрешена с колыбели.

Князь был крайне подавлен. Как человек чести, он всячески хотел бы приукрасить жизнь своей возлюбленной, своего незаконнорожденного, единственного сына... Увы, царствующий брат – Император Николай – не допускал шуток, когда дело шло о добрых нравах их августейшей фамилии и императорского двора. Михаил Павлович, как никто другой, прекрасно знал

убеждения.

²⁷ Михаил Павлович (1798–1849) – великий князь, младший сын Павла I, генерал-фельдцейхмейстер, генерал-инспектор по инженерной части (1825), главный начальник военно-учебных заведений (1831), главнокомандующий Гвардейским и Гренадерским корпусами (1844).

²⁸ Бриллиантовый вензель (брошь) выдавался фрейлинам императрицы.

²⁹ В. А. Нелидова продолжительное время состояла в близких отношениях с Николаем I. См.: Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М.: Мысль, 1990.

³⁰ Инвалидный капитал был основан по частной инициативе в 1813 г., служил для выдачи пенсий и вспомоществований раненым военнослужащим, вдовам и детям убитых воинов.

³¹ Она не ходит, а парит (*нем.*)

нрав Государя и предвидел, случись что, в какой величайший гнев придет тот. Погруженный в глубокую меланхолию, отложив дела государственной важности «на потом», он вынужден был срочно принять суровое, но единственно верное решение. И оно случилось к сроку – гусиное перо начертало строки: «Р. S. Прежде, семнадцать лет назад под Гроховым... уж так было угодно судьбе, я «отнял» у вас сына, нынче я вам его возвращаю, граф. Сын мой крещен и наречен Александром в светлую память о том, кто некогда спас мне жизнь».

Да, именно так и гласило отписанное им письмо для графа Холодова. «Несчастный старик... – Михаил Павлович осенился крестом. – Еще раз прости за героя сына...» Его высочество прикрыл глаза... и снова из того кроваво-грозного тридцатого на него неслись перекошенные в крике лица польских улан, и снова его грудь леденил холодный блеск солнца на бритвенных остриях их пик... И слава Всевышнему! – наш, русский эскадрон лейб-гвардии гусарского полка под началом поручика Холодова, что отбил его от когтей неминуемой смерти...

Князь, продолжая пребывать в плену волнительных воспоминаний, опустил в золоченое кресло, неторопливо раскурил ручной свертки кубинскую сигару. Ровное пламя свечей кабинета зажигало розоватые блики на резных рамах старинных картин.

«Да, знание смиряет великого, удивляет обыкновенного и раздувает мелкого человека, – сам для себя констатировал он. – Но что с того мне, коли я знаю правду? Смирение, удивление или радость? Мой сын... мой маленький, единственный сын... Как бесконечно и как отчаянно ты далек от меня... Ах, почему ты не мой наследник?! Я человек, имеющий все, тем не менее о состоянии своей души, своего сердца могу лишь сказать, как в той глупой французской песенке:

*Je loge au quatrième étage,
C'est là que finit l'escalier»³²*

Глядя на сизый изменчивый дым сигары, память его набросала портрет того, кто тайно отвозил новорожденного под Вильну, в имение графа Холодова.

Лебедев Аркадий – еще молодой, но уже обожженный польской войной драгунский офицер в красивом кавалерийском мундире. Породистое русское лицо, на высокий лоб падают упругими завитками темно-русые волосы, и что-то смелое, уверенно-твердое в гордом повороте головы... Вспомнив о ротмистре, о Кавказе, Михаил Павлович вспомнил и о том, как ежегодно, уже третий десяток лет в дворцовой церкви, равно как и по всей России, служили скорбный молебен по случаю начала войны на южных границах Отечества. В этом году при выходе из церкви Государь обратился с речью к офицерам, присутствовавшим на службе. Он сказал им, что гвардия покуда не будет вступать в дело, но что, ежели обстоятельства сего таки потребуют, он сам поведет ее и уверен, что она покажет себя достойной этой чести. Наследник цесаревич Александр подошел к отцу и произнес сакраментальное, вечное: «Рады стараться», которое офицеры дружно повторили хором. Император тепло обнял сына. Но вот незадача: в этой маленькой сцене, участником которой являлся и Михаил Павлович, не чувствовалось ни на йоту одушевления или влечения. «Восточный вопрос – вопрос совершенно отвлеченный для ума петербургского, и особенно для ума гвардейского. Это «ум с порогом», крылья коего постоянно обрезались, ум, перед которым, увы, никогда не открывалось иных горизонтов, кроме парадов Марсова поля и Красносельского лагеря, не вырисовывалось других идеалов, кроме спектаклей оперы или французского балета, мог ли он осознать всю сложность вопроса?!».³³

³² Я живу в четвертом этаже, Там, где кончается лестница (*фр.*).

³³ Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров.

«И, право, – рассуждал Михаил Павлович, – как может ум, воспитанный на такой скудной пище, возвыситься до понимания крупных социальных и политических замыслов и воодушевиться идеей освобождения всех славянских народов и великого торжества православия? Пожалуй, прежде следует растрясти наше дремлющее в неге и грехе общество, перевернуть его вверх дном, прежде чем идеи такого порядка смогут проникнуть в тупые мозги петербургских гвардейцев. Увы, кавказская война идет уже третий десяток лет, а в Петербурге так и не поняли, что не стоит фамильярно похлопывать Кавказ по хребту. Но это мои чаянья, ежели собственная Его Императорского Величества канцелярия имеет на Государя подчас влияние более, чем Он на нее? Брата Константина³⁴ давно уже нет среди нас... а как славно иметь сейчас Государю его крепкое плечо и преданное сердце. Ободряет и вселяет уверенность в православные души одно: царственный брат мой превыше всего поставил упорядочение законодательства. И железная воля Его служит надежной порукой, что сие будет завершено. И еще, – Михаил Павлович пробежался взглядом по золоченым кессонам потолка, – длительная война с горцами имеет не только темную сторону. Войска, прошедшие этот ад, – лучшие войска в России, а стало быть, и в Европе. Ну вот, *dixi et animam levavi*...³⁵

Он вновь по-лиси улыбнулся чему-то своему и посмотрел на каминные часы швейцарской работы. Стрелки показывали семь часов. На данное время была назначена аудиенция Лебедеву, которого его высочество с нетерпением ждал лицезреть.

* * *

– Что же вы, ротмистр, проходите, прошу. – Михаил Павлович, стоя вполоборота к застывшему у дверей офицеру, любезно указал на одно из кресел. – Садитесь. Дорога была дальней, и вряд ли ее возможно для вас назвать *partie de plaisir*.³⁶

– Благодарю, ваше высочество, но я не смею...

– Смелее, садитесь, *sans façon*³⁷ – И, точно помогая курьеру преодолеть барьер субординации, Великий князь первым опустился в кресло.

– Видите ли, голубчик, упрямство отличается от стойкости. Упрямец упорно защищает ложь, стойкий человек – истину. Вы, ротмистр, слава Всевышнему, преуспели во втором... и я весьма благодарен вам за верную службу. Знаю, знаю о том несчастье, что приключилось в Вильне, иначе, как бы я смог вызволить вас из петли судьбы. Успокою: вы вне подозрений, *mon cher*. Древние говорили: «*Feci quid potui, faciant meliora potentes*»³⁸. Что делать, жизнь тасует нас, как карты, и только случайно – и то ненадолго – мы попадаем на свое место. Что до убийства графа... конечно, безмерно жаль старика.

Михаил Павлович тяжело вздохнул, поднял голову и крепко провел белой ладонью по глазам; встреча шла в разговорах «*sotto voce*».³⁹

– А вы... друг мой, имеете на этот счет какие-либо соображения? – Князь искоса взглянул на Аркадия.

– Никак нет, ваше высочество... Хотя разве кучер-бульбаш, что нанят был мною на виленской земле... уж больно странная, угрюмая личность... Но он и в дом не входил... Более у меня нет никаких догадок.

³⁴ Константин Павлович (1779–1831) – цесаревич, второй сын Павла I, главнокомандующий польской армией в 1820 г.; вследствиеmorganатического брака с Жанетой Грудзинской отрекся от наследования престола и в 1825 г., после смерти Александра I, не принял престола.

³⁵ Сказал и облегчил душу (*лат.*)

³⁶ Увеселительная прогулка (*фр.*).

³⁷ Без церемоний (*фр.*).

³⁸ Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше (*лат.*).

³⁹ Вполголоса (*итал.*).

– Н-да, самые глубокие мысли приходят тогда, когда окажешься на мели, – мрачно усмехнулся князь и опустил тяжелые порозовевшие веки. – В не лучшие времена живем, голубчик, отнюдь... Стоит ли говорить о преступниках, ежели даже свидетелей стало трудно отлавливать.

Хозяин дворца внимательно посмотрел на гостя и при ярком свете свечей отметил, что тот изменился за полгода с их последней встречи: вокруг глаз обозначились новые морщинки и стало больше седых искорок в темных густых волосах. Лебедеву было между тридцатью четырьмя и тридцатью шестью. Но в движениях драгуна жила еще та упругость юности, а в плечах и руках чувствовалась та живая мощь, которая столь волнует людей, разменявших пятый десяток. Руки Аркадия были жилистыми, с длинными артистичными пальцами музыканта, с которыми так не вязались два сабельных шрама на внешней стороне кисти. Это были руки солдата, привыкшего к грубому делу, но одновременно они с удивительной легкостью управлялись с изящным фужером, сигарой, равно как и с ножом и вилкой.

– Еще вина? – Михаил Павлович с несвойственной ему доверительностью посмотрел на верноподданного слуга. И когда тот с почтительной готовностью наполнил фужеры шабли, князь тихо сказал: – К сожалению, обстоятельства сильнее нас, господин Лебедев... Мой незаконнорожденный сын, убийство графа Холодова, донос о вашем аресте Его Величеству... словом, лучше, ежели вы на время покинете Петербург, голубчик... Я подчеркиваю: на время.

– А как же мой Нижегородский полк, ваше высочество? – Аркадий, бледнея лицом, сдвинул брови. – Неужели... моя миссия в Вильну по вашей просьбе... сыграла столь злую шутку?..

– У вас свежие и точные сведения. – Князь посмотрел на офицера пронзительным взглядом и, отпив из фужера, прикурил сигару. – Вы почерпнули из «Полицейских ведомостей»? Впрочем, простите за неуместную шутку.

– Но это же была секретная миссия, ваше высочество?

– Увы... в России все секретно и ничего не тайно. В этом-то и беда. *N'est ce pas, mon ami?*⁴⁰ О моей персоне, как, собственно, и о вас, ротмистр, уже всюду судачат в салоне Карамзиных... да и не только там. *Notiz bien,*⁴¹ господин Лебедев. Посему я предлагаю вам на выбор любую губернию, где квартируются наши славные полки. Уверю, сия любезность с вашей стороны мною не будет забыта. Как говорят мудрецы на востоке: «Для великого наполнения нужна великая пустота».

Аркадий молчал, фраппированный крутым поворотом судьбы, но через тяжелую паузу твердо сказал:

– Я боевой офицер, ваше высочество, могу командовать эскадроном...

– Равно как и полком. – Брат Государя сидел в кресле, с черной сигарой в пальцах, неприужденно скрестив ноги – поза хозяина и господина, который не привык терпеть чужого мнения. Его властно-задумчивый взгляд был устремлен на многоликие отражения в зеркалах золоченых шандалов и бронзового литья.

И вновь наступила пауза. Огонь играл в камине. Из дворцового парка уже веяло вечерней прохладой. Свет свечей играл на тонких голубоватых гранях хрусталя, плясал на шелке, которым были туго затянуты стены кабинета, на серебристых корешках книг. В узоре наборного пола успокаивающе переплетались желтые, вишневые, белые и кофейные фигуры и линии. Стрелки часов на камине приближались к восьми.

– Так значит, вам еще нравится запах пороха? – Князь выпустил дым из ноздрей, рубиновый огонек сигары отражался в его серых, цвета Невы, глазах.

– Так точно! – Лебедев быстро поднялся с кресла, замерев перед главнокомандующим Гвардейским и Гренадерским корпусом.

– Выходит, в Казань, Оренбург или Царицын вы не желаете?

⁴⁰ Не так ли, мой друг? (*фр.*).

⁴¹ Запомните это хорошо (*фр.*).

– Никак нет, ваше высочество. Завтра в полку офицерское собрание – друзья засмеют. Да и я сам, видит Бог, не желаю.

– Вы все так же смелы и бесстрашны? – Белые зубы твердо сжимали сигару. – И не боитесь смерти?

– Первостепенно приказ, ваше высочество. О смерти и опасности думаешь потом, ежели это угодно-с нашему Господу.

– Хм, похвально, слышу все те же ответы. Значит, вам по-прежнему будет уютно в седле. – По красивым губам Михаила Павловича пробежала улыбка: «Наконец-то я отчасти раззадорил сего героя». Он посмотрел сквозь сигарный дым на ротмистра своими спокойными глазами, затянулся еще и, словно размышляя вслух, сказал: – Что вы скажете насчет Кавказа, господин Лебедев? Покорение сих территорий по-прежнему стоит Отечеству громадных жертв и денег. Кто б мог подумать, что после тридцати лет бесконечной войны мы сегодня столкнемся с кровавой и грозной порой мюридизма⁴². Увы, огненная проповедь Кази-муллы и Шамиля⁴³, как никогда, нынче владеет сердцами и шашками Чечни и Дагестана.

– Надеюсь, ваше высочество, судьба будет благоворить к России. Что до меня, – Аркадий в почтении склонил голову, – сабля и имя – это все, что у меня есть. Сабля, чтобы пролагать ею дорогу, а имя для того, чтобы знали, кто по ней прошел. Я готов выполнить любой приказ вашего высочества. Тем паче, что много обязан вам. Честь имею.

– Браво, я всегда знал о вашей сабле, коя способна по первому слову покинуть ножны. Знал и о преданном сердце, радеющем за веру и верность Отечеству, но вот о душе... Впрочем, шут с этой философией. – Великий князь огладил ухоженные усы, пригубил вино. – *Gott sei dank*.⁴⁴ Я вполне удовлетворен нашей беседой. Кстати, у вас есть жена, дети? Дама сердца, наконец? Мужчина в вашем возрасте есть лучшее сочетание силы и разума. Это к тому... *mon cher*... Может быть, кто-то из ваших близких, родных в ваше отсутствие нуждается в моем покровительстве?

– Благодарю, ваше высочество, это излишне. Семей обзавестись мне Бог не дал. Почтенные родители давно в земле... Вот только мой крестник Александр... с вашего позволения... ваш родственник. – Голос ротмистра на мгновение дрогнул. Снова склонив голову, он приложил правую руку к груди.

– О, да... Это *point d'honneur*...⁴⁵ И это делает вам честь, господин Лебедев. Но о сем не извольте беспокоиться. Это *mea culpa*,⁴⁶ и я сумею ее загладить перед Всевышним. – Его высочество выдержал паузу, выпустил цепочку дымовых колец изо рта. – Что ж, ежели вопрос решен, вот вам мое рекомендательное письмо для Генерального штаба. Второе послание вручите лично генералу Нейгардту. Убежден, он найдет вам достойное место. — Михаил Павлович протянул ротмистру два пакета, скрепленных сургучными печатями, и, вновь пригубив шабли, подумал: «Этот славный малый отнюдь не похож на милого дворцового лакея. Его не назовешь очаровательной посредственностью. Отраднo, что в тридцатом году судьба свела нас под Гроховым... Жаль, если сей молодец сложит голову на Кавказе... преданность и верноподданничество нынче в цене. Но с другой стороны: нет человека – нет проблемы. М-Ле Ришар скончалась при родах... Внебрачный сын в далекой Вильне... Коли этот храбрец, как многие иные

⁴² Мюридизм – кавказская магометанская секта, ставившая своей целью фанатичную борьбу с неверными; возникла в 20-х годах XIX в. Последователи мюридизма отстаивали политическую независимость и оказывали сильное сопротивление русским войскам при завоевании Кавказа, особенно при имаме Шамиле, с пленением которого (1859) распалась и секта.

⁴³ Ш а м и л ь (1797–1871) – религиозный и политический вождь кавказских горцев в северном Дагестане и Чечне; последователь учения Кази-муллы, имам (глава) горцев. С 1824 г. участвовал практически во всех известных восстаниях против русских; в 1859 г. на горе Гуниб принужден был сдать князю Барятинскому.

⁴⁴ Благодарю Бога (*нем.*).

⁴⁵ Дело чести (*фр.*).

⁴⁶ Дословно: моя вина (*лат.*).

имена, навеки растворится в горах Кавказа... что ж, стало быть, так... Почему нет? Хорошими людьми не рождаются, ими умирают».

– Засим прощайте, друг мой, меня ждут государственные дела. Но помните, – Великий князь, жарко сверкнув рассыпанным по плечам золотом эполет, поднялся и потрепал по плечу курьера, – кроме сабли и имени, у вас есть еще я. Храни вас Господь, Аркадий Павлович. С Богом!

Глава 6

«Ох, и носит же меня лихо...» – Лебедев, тяжело страдая от перепоя, насилу попытался расцветить глаза и наконец-то понять, «где он и с кем?» Однако затея эта оказалась куда как непростой: голова трещала, ровно коня подковывали, а набрякшие свинцом веки отказывались подчиниться. Послав значительное количество чертей в адрес ставропольского начальства, а также большого штаба и разных лиц, которыми генерал Нейгардт⁴⁷ всегда любил окружать себя ради почета, ротмистр таки привстал на локтях и тупо узрел «мир». «Вот уж воистину: на небе выпил – на земле закусил. Только выбрался из прошлого, как вляпался в настоящее».

Через розовые занавески окон тужились в упрямстве лучи апрельского солнца и наполняли еще не греющим, но каким-то особенным веселым светом спальню и находившиеся в ней предметы.

Аркадий повернул всклокоченную со сна голову и, тихо застонав, мертвецом откинулся на подушку: «Похоже, и вправду мне всю дорогу ворожит бес».

Рядом, уткнувшись щекой в пуховую перину, мирно посапывала вдова уездного почтмейстера Глазкова, что третьего года был зарублен шашками немирными чеченами под станицей Червленной. «Прикажете самовар истопить, Оксана Прокопьевна... Не в пример зябло у вас... с похмелья колотит... Собаке в будке и то теплее...» – хотел было попреком озадачить вдову Аркадий, но состояние полного несостояния, а вернее, мрачной рассеянности и умственной хмельной тьмы не дало ему разомкнуть губ.

Тем временем, будто прочитав его мысли, в доме слышались скорые шаги прислуги, неряшливо брякнули о железистый лист принесенные со двора кучером Антипом дрова; грохнул медью самовар, лязгнул ухват, пытаясь подхватить чумазый чугунок щей...

Минутой позже мимо приоткрытых дверей спальни проплыла и на миг задержалась у щели любопытная рожа ключницы Матрены. В ее жадных до сплетен глазах шаял огонек злорадства, точно выжигал клеймо: «Ай да госпожа – хороша! Бог главный, а она первая опосля Его! Муженек-мученик ешша и остыть не поспел в земле, а она глядь: груди пялит и сердчать не думат!»

Часы мерно отходили четверть часа, может, и более, когда альков мало-помалу наполнил едва уловимый, но столь милый душе запах тепла. Угревшись под одеялом, Лебедев вслушивался в звуки и шорохи ожившего дома и представлял, как знакомый, кривой на один глаз Антип, сидя на корточках, матькается, покусывая ус, возится у беленой печи и, обжигая пальцы, подтапливает кудрявой берестой волглые на концах после ночной изморози дрова.

Лебедев еще разок сквозь вязь ресниц глянул в ясное окно: с широкого струганого подоконника, крашенного белой краскою, недоверчиво и пугливо слетела ожившая по весне муха. Где-то продолжали уверенно фыркать, бурчать и постреливать взявшиеся огнем дрова... но пламя желтых языков памяти, что лениво изгибались, облизывались и скользили перед мысленным взором, уносили ротмистра в далекое далёко... Ощущая обнаженным бедром горячее гладкое колено молодой вдовы, он продолжал пребывать в беспокойной похмельной дреме, видя себя самого в ту пору, когда способность радоваться жизни, способность наслаждаться и ни секунды не тревожиться из-за прошлого или будущего еще не покачнулась на зыбких весах гармонии молодости.

* * *

⁴⁷ Н е й г а р д т Александр Иванович (1784–1845) – генерал от инфантерии с 1841 г., начальник штаба Гвардейского корпуса (1823–1830), генерал-квартирмейстер Главного штаба (1830–1833), командир Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий Закавказским краем (1842–1844), член Военного совета с 1845 г.

Ему везло с молодых ногтей, и это везение, как ржавь, незаметно портило, развращало... У семи нянек дитя без глаза – Аркадий не был исключением. За воспитанием барчука ревностно никто не следил: ни маменька, ни рарá. Разве что многочисленные и такие же бестолково-шумные, что курицы, бонны, а позже педантичный, скупой на ласку и слово гувернер-немец, но как-то уж решительно по-немецки, сухо и отстраненно. И немудрено: Отто Карлович, пожалуй, больше всего на свете любил три вещи: зачитывать по нескольку раз в день «Pater noster», будучи убежденным католиком, с непостижимой аккуратностью затачивать берлинские карандаши и каллиграфическим почерком выводить мелом латинские буквы на графитной доске.

Так от Рождества до Пасхи, от Пасхи до Троицы незаметно пролетали дни, проходили годы... Суровость и вечная занятость Павла Сергеевича, как и надуманные со скуки тревоги Анны Андреевны глубокой борозды не оставили в интересах и приоритетах сына. *Suum cuique*.⁴⁸

Между тем, Аркадий был уже в тех годах, когда родителям следовало крепко задуматься о грядущей карьере своего чада. И старший Лебедев – муж ума трезвого, ревностный в вере к Богу и Государю, будучи к тому же человеком военным и пунктуальным, после краткого, более формального (чем требовал того этикет) tête-à-tête с женой, определил Аркадия в Пажеский корпус.⁴⁹

В Пажеском он шел одним из первых и в постижении военных наук, и в качестве застрельщика утех юности и, выйдя в полк, как это случается с живыми натурами, сделался всеобщим кумиром. Его яркие серо-зеленые глаза сверкали счастливой бесшабашностью и отвагой. Поразительно, но ему везло как в обществе, так и с начальством. Имя его частенько повторялось сослуживцами с завистью, дамами – с восхищением. При этом он не был ни петиметром, ни шаркуном, и даже злые языки не смели упрекнуть Аркадия в этих пороках.

– Ей-Богу, господа, я и пальцем-то не шевельнул для своей «популярности». Но мир... не без «добрых людей». Разве вам не случалось слышать обо мне хуже, чем я есть на самом деле? – подмигивая друзьям, улыбался он. – Хотя, клянусь, сам я решительно никогда не драпировался в тогу особенной добродетели... Сознайтесь, други, слышали в мой адрес дурное? Меня занимает только мнение мужчин. Ибо к беде иль радости, но женщины и без того дарят мне свое внимание. Так да иль нет? Елецкий, брат, что молчишь? А ты, Брагин? – Он снова улыбнулся – задушевной улыбкой, открывшей белые безупречные зубы.

Господа смеялись, поднимая за своего любимца бокалы, звенели хрусталем и с теплотой беззаботной молодости кричали:

– Лебедев, черт! Ты наш succès du scandale! Vae victis!⁵⁰

...Однако Пажеский корпус учил не только военным наукам... Не отставая от других, Аркадий к семнадцати годам весьма толково умел презрительно «щурить глаз», «брать навскидку лорнет», вглядываясь на проезжающих; чинно кутаться в бобровый ворот, сидя в пролетке невского лихача, и делать... долги. Тех денег, которые раз в месяц регулярно высылал «на булки» и «изюм» отец, катастрофически не хватало. Но ни Москва, ни Петербург слезам не верят. Столицам дела нет до «высоких оценок» и «особого расположения ротного командира».

Как назло, к досаде Лебедева, в корпусе постигало науку немало богатых молодых людей, кошельки которых не знали «ветра». Жизнь их кипела обычной, веселой волной, на зависть другим. Эти не морщили лоб и «не рвали ногти», как дотянуть до следующей «подачки» из дому; непринужденно мотали деньги, «подмахивали» векселя, играли в карты на интерес

⁴⁸ Каждому свое (лат.).

⁴⁹ Пажеский корпус – военно-учебное заведение в Петербурге, основано в 1755 г. При Елизавете Петровне и в начале служило исключительно для подготовки к придворной службе; в 1802 г. Пажеский корпус был преобразован Александром I в военную гимназию, связанную с высшим военным училищем, с семилетним, в общей сложности, курсом. С 1834 г. в пажеский корпус стали принимать исключительно сыновей высших гражданских и военных чинов, готовящихся к военной службе.

⁵⁰ Succés du scandale – скандальный успех (фр.). Vae victis! – Горе побежденным! (лат.).

и тоже делали долги. Строгие родительские напутствия, предостережения родственников и отцов-командиров – кто о них помнит в семнадцать лет? После «сыгранной зари» и многочасовых мучений в классах, фехтовальных залах, на ипподроме и плацу их ожидали визиты, взятый за правило promenade на Невском своих рысаков, а следом обеда непременно в лучших местах, дорогие тонкие вина, цыгане, балы и ночи с любезницами... И так каждую неделю – азартно, весело, пусто, словом – *après nous le déluge*.⁵¹

Лебедев мучился и страдал, право, недолго. Как ему, «первому по фронту», не спустить деньги и не влезать в долги, когда вокруг все только этим и заняты! «Ведь стыдно, ей-Богу, стыдно не мотать червонцы, быть прижимистым и ощущать себя мышью под веником! – горячился Аркадий, спешно отписывая очередное прошение матери. – Ведь чистый позор для фамилии – кормиться в кухмистерских норах, хлебать ленивые щи, пить пошлый копеечный компот и находить эту отраву сносной!»

Тем не менее в письмах к дорогой маман он был предельно трезв в выражениях и разборчив в выборе слов. Зная слабые стороны материнской души, он умел пускать свои «стрелы». Тонко сетовал на то, что ему горько и совестно отставать от иных фамилий по корпусу, всюду, как каптенармусу, являться лишь в казенном мундире: и в опере, и на приемах, и на балах... Быть обделенным услугами сапожника и портного, брать извозчика, когда другие держат чудных рысаков и даже имеют свой собственный экипаж.

Об истинной правде своего бытия Аркадий благоразумно хранил обет молчания. Ни слова, ни полслова о том, что сеял и растил долги, беря ссуду под дикие проценты у хромоногого ростовщика-еврея, державшего свой ломбард неподалеку от Владимирского рынка; ни о долгах друзьям, взятых под «честное, благородное»... Ни о многом другом, о чем было жутко и думать. Анну Андреевну хватил бы удар, знай она о «свечках» любимого сына. Между тем Адик в окружении шумной камарильи приятелей умел проявить себя. Их молодое – кровь с молоком – братство бойко третиговало известного сорта дам, «взрывало» за ночь не один десяток бутылок шампанского, держало содержанок-француженок и мчалось «справить голод» в лучшие рестораны столицы. Там же юные господа демонстрировали бравую выправку; сверкали надраенными пуговицами и пряжками мундира; с особым шиком бряцали шпорами, ловко бросали пальцы к околышам фуражек при виде хорошеньких барышень и без смущения смущали последних тем светлым и наглым смеющимся взглядом, который против воли вызывал краску на атласных девичьих щеках.

Так ярко и весело летели дни, месяцы, и Лебедеву казалось – всему не будет конца... Что до растущих, как на дрожжах долгов – то Аркадий пребывал в полной уверенности: все они как-то сами собой заплатятся. Увы, чудес не бывает. Пробил час, и в дверь постучали... Кредиторы, словно цепные псы, не знали пощады и ничего не желали слушать.

– Либо извольте вернуть положенное, либо, милостивый государь, мы спешим жаловаться на вас начальству!

Краснея и задыхаясь от самых заискивающих просьб, уверений и клятв, ему насилу таки удалось выбить себе три дня. «Дьявол! – Аркадий был в отчаянии. – Как скверно, подло эти мерзавцы обошлись со мной! Будто я портной или кучер!» У Павла Сергеевича деньги, конечно, имелись, но обратиться к отцу с такой просьбой!.. Лебедев промакнул батистовым платком лоб. «Девятьсот рублей серебром! Это могила... Эшафот! Верно говорят: «Была бы плаха и топор, а шея всегда найдется»».

«Сын, будь прежде всего порядочным, честным офицером, служи верой и правдой Отечеству. Смей блюсти себя так, чтобы старые любили, равные уважали, а младшие почитали.

⁵¹ «После нас хоть потоп» (слова, приписываемые французскому королю Людовику XV, утопавшему в роскоши среди общего разорения и нищеты.

Помни: ты дворянин, будь предан до последнего вздоха Государю и чти фамилию нашу...» – вспомнились категоричные наставления отца.

«Нет, раба своих принципов не переступит. Узнай, «как я», «что я» – прогонит взашей, оставит без благословения и без сомнения лишит и тех несчастных двухсот рублей, кои, как милостыню, бросает мне в руку. Нет, брат, уж лучше пуля...» Он на миг представил реакцию отца, солдатскую ругань на его прошение, и вздрогнул... Багровое от гнева лицо, оловянный взгляд и подергивающиеся усы:

– Что, влип, «мотыга»?! Все на кутежи, на баб, на ликеры? Ишь, барон нашелся! Сволочь! Жалованье ему извольте-с вперед, а черта лысого не желаешь? Я тебя отучу форсить, хвост павлинить! Я что, кую эти самые деньги? Скотина, болван! И это сын майора Лебедева. Прочь с глаз моих! Список долгов оставь своим шлюхам и хлыщам! Я хоть не слышал, а ведаю, куда мои средства летят! И не смей матери слезы лить! Лично отпишу начальству, чтобы тебя гнали плетью из корпуса. Что? Можешь попасть под суд? Вот и славно! Отечество и Престол в таких защитниках не нуждаются! Пусть ушлиют на Кавказ подлеца! Там выбьют из тебя пудру с духами. А теперь вон отсюда! И чтобы ноги твоей в доме не видел, ни тени, внял?!

Аркадий закрыл глаза и прочитал молитву: «Господи, не оставь раба своего...» Глупый, выживший из ума скаред! Что он знает? Что понимает в нынешней жизни? Надежда разве на маменьку... Она не оставит, поможет, поймет.

* * *

Анна Андреевна в своем нежно-голубом капоте с широкими кружевными рукавами, из-под которых далеко виднелись белые голые руки, с плохо уложенными в этот поздний час волосами, больше встревожилась, чем обрадовалась внезапному приезду сына. «Бог мой! У него на лице что-то фатальное. Неужели стряслось...» – молнией ударила мысль.

Высокая, заметно располневшая за последние годы, с кротким, мягким лицом, сохранившим еще остатки былой привлекательности, она вдруг увиделась Аркадию маленькой, беззащитной, растерянной. Мелко шагнув через комнату, мать, не спуская с него глаз, как-то странно улыбалась, точно боялась обнять и хоть что-то спросить.

«Она все поняла». Аркадий почувствовал, как запершило в горле, как дрогнуло что-то внутри и натянулось.

– Здравствуй, Аркашенька! – с приглушенной тревогой слетело с губ матери. Поднимая голову выше, она пристально вглядывалась в него.

– Здравствуйте, маман! – взволнованно и глухо прозвучал ответ. Поклонившись, сын не смел двинуться с места, ожидая приглашения.

– Плотнее затвори двери. – Привыкшая видеть Аркадия всегда бодрым, подтянутым и веселым, Анна Андреевна нынче отказывалась верить глазам. И когда он торопливо последовал ее совету, она дополнительно оживила две свечи.

Все произошло, однако, лучше, чем представлялось.

Анна Андреевна, поцеловав его в щеку, провела в свои комнаты и, указав сыну на кресло, молча присела рядом. И он был бесконечно благодарен ей.

– Так что же? – перекрестив сына, не удержалась она и расправила дрожащими руками подол шелкового капота.

– «Сам» дома? – привстав от напряжения, озадачил Аркадий вопросом.

– Сядь же, успокойся, – кусая губы, поперхнулась от волнения мать. – Павел Сергеич нынче у Наумовых... третьего дня как в Царском Селе. Ах, Господи, свет мой Аркашенька. Не томи, я с ума сойду! – Глаза блеснули слезами.

– Скверные дела, маменька... Простите, простите! – Он припал к ее руке, едва сдерживая готовые сорваться слова отчаянья. – Я к вам с покорнейшей просьбой, маман. Умоляю, не оставьте без внимания! Иначе... погиб. Затем и лошадей гнал.

– Адик... Аркашенька, Господь с тобою, душа моя, как же... это? Деньги? Ты должен? Сколько? Ах, Боже мой, как ты мог?

– Спасите, милая мама. Я бросался повсюду, пустое! На вас вся надежда... Отец скорее моей могиле будет рад, чем удружит деньгами.

Услышанная сумма долга не испугала Анну Андреевну, однако изумила и вызвала слезы. После долгих, придирчивых и обстоятельных допросов необходимые деньги были переданы Аркадию, а ночь была отдана молитве.

Следующим утром, когда стройный и бодрый Аркадий молодцевато перешагнул порог маменькиной половины и, чуть румянясь от прежнего стыда и волнения, подошел к руке матери, то ни она, ни челядь, похоже, не признали в этом изящном, подтянутом молодом человеке вчерашнего потерянного, с лихорадочным блеском глаз юношу. Все домашние не в силах были скрыть светлого впечатления от той здоровой свежести, которую внес в дом единственный сын Лебедевых.

После сытного завтрака и крепкого чая Аркадий, поцеловав мать, скоро откланялся, выслушав на прощанье горячее напутствие:

– Заклинаю тебя, мое сердце, впредь будь осмотрительным, прилежно учись и не смей огорчать нас с рарá. Павлу Сергеевичу ничего сказано не будет, но и ты, Адик, должен понять...

– Я уж все понял, маменька!

– Ты... ты мое солнце, мой счастливый берег!

Аркадий клятвенно обещал быть достойным сыном и несколько раз с особенным почтением поцеловал ее мягкую, теплую руку.

Глава 7

В прикрытую дверь настойчиво поскреблись – память Лебедева утеряла путеводную нить воспоминаний.

– На стол-то собирать, чо ли, матушка Прокопьевна? Самовар-то ить дошел... – Красное от печного жару лицо Матрены нахально заглянуло в спальню. На шее прислуги блеснули трехрядные разноцветные бусы. Не услышав от хозяйки ответа, она повысила хриплый, будто застуженный голос: – Кто рано встает, тому Бог дает...

– Но тому весь день дрыхнуть хочется. А ну, закрой дверь, негода! Ох, Матреха, довстревашь ты у меня. На крыльце с Марсиком ночевать будешь!

Дверь затворилась. Вдова Глазкова от души потянулась, натягивая на пышной груди оборки ночнушки, и, перекрестив розовый рот, дотронулась до плеча своего побочина.⁵²

– Довольны ли ваши душа и тело, касатик?

– Хотел поутру обнять жену, ан промахнулся, – отшутился Аркадий, глядя в лучистые глаза казачки.

– Ах, шалун! – Хозяйка погрозила пухлым пальчиком и привалилась к своему постояльцу. – Все вы, служивые, одним миром мазаны.

– Так уж и все? – Аркадий провел ладонью по ее теплому ото сна лицу.

Сердце вдовы застучало, она пылко обняла его, клюнула игривым поцелуем в губы и не упустила возможности спросить:

– Золотенький мой, откуда ты?

– Это далеко отсюда.

По тону кавалерийского офицера казачка поняла: пытаться драгуна этим вопросом больше не стоит. Взяв его руку, она стала целовать каждый палец по очереди. Ладонь Аркадия была мозолисто-твердой, точно у каменщика.

– У-у, какая у тебя жесткая рука, пан. Пожалуй, ты ей не только бабьи титьки ласкал? А что нужно, шоб из пистоля попасть в цель? – Ее тонкая вороная бровь вопросительно выгнулась.

– Стрельнуть своими глазками.

– Ну, дурачок, я ж серьезно! Будь добрый, научишь палить из своего оружия?

– Зачем сей кровожадный инстинкт? У тебя почернеет пальчик от пороху. Не женское это дело.

– Все шуткуете... Нет куража в вас. Вчерась цельный вечер в палисаднике просидели, а позже сразу за стол и на перину. Ни песен, ни баек, даже не поплясали.

Аркадий, мучаясь похмельем, насилу улыбнулся кареокой казачке, а сам припомнил жившую в Пажеском корпусе шутку: «Танец – есть вертикальное выражение горизонтального желания». «Впрочем, в жизни всегда есть место поводу... Взять хоть прошедшую ночь. Я ли затянул эту южную «диву» в постель? Отнюдь». Он вспомнил, как после выпитого доброго чупрака чихаря⁵³ веселая вдовушка сама увлекла его в спальню и без лишних «экивоков» увалила в свою постель.

Обстоятельство это не удивило привыкшего к походной жизни ротмистра, тем паче, что по дороге на Кавказ он наслышался от попутчиков о житье-бытье казачьего пограничья. Очевидцы сказывали, что в надтеречных станицах мужского полу между двадцати- и сорокалетним возрастом не увидишь, потому что такие казаки практически безвылазно занимали посты

⁵² Так на южных границах России (Кубань, Ставрополье) называли любовников казачек.

⁵³ Чупрак – особый деревянный сосуд с узким горлышком, в котором обыкновенно подается домашнее вино. Чихарь – название доморощенного кислого, но крепкого виноградного вина, которое издревле делали казаки Кавказа.

на Тереке, либо находились в станичных резервах на случай тревоги, или были откомандированы в разные боевые отряды.

Однако душеньки-женушки их «не крепко печалились отсутствием своих суженых, оттого что мало-мальски смазливая казачка имела побочина, которого легче легкого было приобрести жительнице той или иной пограничной станицы, где каждый из молодых аристократов-богачей, приезжавших из обеих столиц в экспедиции, считал своей обязанностью побывать в форпостах Российской Империи и от души поволочиться за казачками».⁵⁴

Сами гребенские казаки (которых так называли потому, что они жили «по гребням гор»), как правило, не укоряли жен за любовников, не били плетью, если те были до того тороваты; лишь бы на долю мужа перепала «щербатая копейка», а тем более, если на приношения любовника заводился новый скакун или шилась дорогая красивая черкеска. И даже напротив, на супружницу сыпались упреки и брань, если она не заводила такого богатого побочина. «Выходит, рожей не вышла, али неловкой уродилась девкой... – ворчали меж собой казаки. – Чего ж тут лоб разбивать, коли баба промашку дала и не сумела, дура, захомутать такого важного человека, коим воспользовалась ее трясогулка-соседка». Случалось, что побочины были и у незамужних девиц, и родня не только смотрела на это непотребство сквозь пальцы, но и нимало не беспокоилась. «Был бы до того человек достаточный... Шобы способно было извлечь для дочки и для себя славный барыш».

Но если казачки фронта⁵⁵ и увлекались любовными интрижками, плели шуры-муры с заезжими офицерами, а казаки до некоторой степени терпели этот грех, то никак нельзя сказать, чтобы последние были порочны в иных отношениях.

«...Скажем, шоб кража или воровство жило между гребенцами, не приведи Господь, сударь! – рассказывал Лебедеву бывалый, белый как лунь лекарь, ехавший с ним в коляске до Ставрополя. – Оно, конечно, чихирят сии хлопцы молодецки... Но чтобы видеть валяющихся от пьянства казаков по улицам, как в России, а тем паче буйствующих и дерущихся меж собою, такого ни в жизнь. Ну-с, а ежели-с до храбрости и о лихом наездничестве наших казачков, тут и говорить нечего. Это геройство их брат доказал миру бесчисленными примерами. Эт сколько, сударь, только на моей памяти они проявили удали, а я тут почитайте-с двенадцатый год... Руки и головы пришиваю. Уж сколько было случаев, где десятки наших защищались насмерть супротив сотен неприятеля! Э-э-э... то история, батюшка...»

– Выпей, Аркашенька, выпей, песня моя... легче станет. – Вдова с распущенной косой, почти до обнаженных колен, протянула кружку чихиря. – Завтракать разве будем? Наказать службе ставить на стол... Пирог с капустой имеется, соблаговолите? Есть и десерт к чаю.

– У меня свой десерт, милая, – шумно выдохнул Лебедев. Поставил на подоконник пустую крыжку, порывисто прижал хозяйку к груди и крепко поцеловал ее в пунцовые губы. Та охнула томно и обмякла в мужских объятиях.

Ротмистр сгорстил пальцами скользкие по бедрам оборки и, освободив ее от последних покровов, опрокинул на пахнущие душицей простыни. Тело казачки, изнемогая от желания, изогнулось «мостком». Она схватила Аркадия за широкие плечи, затем заполошно за волосы, застонала, его пальцы медленно двигались вдоль нежной шеи, их губы снова слились, жар стал единым, и тело вдовы затрепетало до самых глубин.

«Какова игрунья!» – горячо подумал Лебедев, жадно запустил пальцы в египетскую тьму рассыпанных по подушкам волос, прижал к себе.

⁵⁴ Ольшевский М. Я. Записки. 1844 и другие годы. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2000.

⁵⁵ В строгом смысле фронт – это зона освоения, точнее, территория, социальные и экономические условия которой определяются идущим на ней процессом освоения. Американский историк Ф. Тернер, введший в науку само понятие фронта, называл его «точкой встречи дикости и цивилизации».

Женщина не отбивалась, напротив, улыбалась уголками приоткрытых губ и скрывно поглядывала на любовника черно-какими глазами из-под темных ресниц. Потом, чуть погодя, вдруг рассмеялась по-летнему светлым счастливым смехом.

– Что так? – смутился Аркадий. – Что за глупые шутки?

– Да уж больно охоч ты до бабьего добра, гостенек. То ли не жалуют вас, касатик, в столице... то ли боитесь вы барышень там своих?..

– Молчи, молчи, глупая! – запаленный и хмельной, он завис над нею, упираясь крепкими мускулистыми руками в перину.

– Чего же ты обмер, соколик, глаза с думой? Сбрехай шо ласковое... Чай не дед во сто лет, гляди, остыну... не растопишь.

Она опять улыбнулась не то ему, не то своему бабьему счастью, глядя прямо и близко в его сумеречно-зеленые глаза.

Он лишь иронично усмехнулся в ответ: «Вот уж воистину женщина любит ушами, причем обоими».

Рука его провела разбросанными пальцами по линии живота, задержалась у влажного центра притяжения, коснувшись темного островка волос...

Вдова почтмейстера Глазкова закрыла в сладкой истоме глаза, отвечая на его ласки музыкой шепота и стонов; теплые волны неги омывали тело, властно овладевая ее существом.

– Ну что же ты? – Она судорожно нашла губами его рот, подрагивавшие бедра раскрылись, готовясь принять его силу...

А потом они отдыхали, снова пили чихирь с размешанным в нем цветочным медом, шептались о всякой глупости, далекой от Кавказской войны, и лишь к полудню вышли к столу, на котором дышал жаром в третий раз за утро растопленный самовар.

Румяная и счастливая Оксана Прокопьевна тем не менее не преминула цыкнуть на набравшую в рот воды Матреху и, живехонько отправив ее «дозорить» за дверь, сама взялась потчевать любезного постояльца.

В горнице пахло печеным тестом, калеными орешками и цветами; горшки с последними густо стояли на подоконниках, закрывая своей наливной зеленью окна.

– Просим покорно за стол, Аркадий Павлович, озаботьтесь откусать пирожка с квашеной капустой... Чайку на малиновом листе извольте, с вашего позволения, медок опять же черпайте. Ах, ежели б не Великий пост, уж я бы попотчевала вас, касатик, виноградным пирогом со свиной. А ты молодец, миленок, как есть герой! – Оксана Прокопьевна прыснула в расшитый рушник, оправила нарядный бешмет, что был моден среди казачек приграничного края, и принялась наливать в стародавние дедовские чашки дымящийся чай.

Отдав молитву Господу и осенив себя крестом, Лебедев взялся за пирог.

Хозяйка журчала чаем, запускала витую ложечку в черешневое варенье и поглядывала на побочина через стол. «Почему он не мой? Женат ли? Скоро ль закончится мое недолгое счастье? – кусала себя вопросами вдова. – Жив ли останется, уйдя с обозом за Терек?» Его благородное, красивое своей суровостью лицо заставляло волноваться сердце казачки. Его улыбка – как блик солнца, озарявший волевые черты, смущал ее самое, но улыбался ротмистр крайне редко.

Покончив с пирогом, он проигнорировал сладости и потянулся за чашкой чая.

– Берегите себя, – надкусывая ванильный пряник, с плохо скрытой тревогой обронила она. – Ох, горе... Боюсь я за вас, соколик Аркадий Павлович, сердечушко так и ноет! И зачем вы сюда пожаловали, пан? Закоптят вас татары, как ветчину. Уж сколько крови здесь православной пролито – жуть! Будет ли сему аду конец? – Вдова уронила в сложенные ковшиком ладони раскрасневшееся лицо.

– Вот за этим и прибыл... чтобы приблизить конец.

– Ты веришь в счастливый исход? – Она отбросила на плечи рассыпанные волосы.

– С Божьей помощью. – Лебедев тщательно промакнул салфеткой лукообразные губы. – Снабжение Шамиля нынче желает лучшего, его мюриды на голодном пайке. Ежели б окончательно перекрыть потоки оружия с Турции и тайную помощь Англии, полагаю, его загнанные в горы скопища долго б не устояли, а там и победа близка при удаче.

– Вот не гадала, что вы верите в удачу.

Она крутнула на своей груди святой образок, глубоко вздохнула, с сомнением покачав головой.

– Уж сколь годочков загоняли энто чертово семья и в голые скалища, и в буреломные леса, почитай, со времен Ермолова... Я еще в колыбели была, а воз и ныне там. Вот и Семена Трифоновича, заступника маво, Царство ему Небесное, зарубили проклятые. А мы ведь только жить начали... Ребеночка завести хотели, ан вона как вышло.

Женщина смахнула слезу, задумалась над своею судьбою, мятные и ванильные пряники, прежде купленные постояльцем, более не занимали ее.

– Мое почтение. – Аркадий, отодвинув тарелку и блюдце с недопитым чаем, поднялся из-за стола. Ему вдруг стало неловко и досадно, что он нечаянным разговором задел за живое хозяйку. Он чувствовал себя не у дел и желал сейчас одного: как бы скорее ретироваться. «Верно, денег ей дать? Может, это обстоятельство уладит дело», – подумал он, но тут же решил, что этот пошлый поступок в данную минуту лишь подольет масла в огонь и усугубит и без того скверное настроение вдовы.

Оксана Прокопьевна осталась сидеть за столом, а он, накиннув алую венгерку, в гражданском дорожном платье вышел на двор, где столкнулся с Матреной. Та, согнувшись окатистым задом к нему, расправляла пестрые половицы на ступеньках крыльца.

– Бог помощь, Матрена. – Лебедев набил трубку табаком.

Девка пугливо шарахнулась в сторону, ровно то был не их постоялец, а гололобый чечен с кинжалом, и уж от поленницы продолжала глазеть исподлобья на офицера, не то с завистью, не то с презрением и обидой.

«Да, плюет здешний народец в господскую спину, но с какой любовью», – усмехнулся в душе Аркадий и, отворив ворота, вышел прогуляться по городу.

Несмотря на случившееся за утренней трапезой, настроение Аркадия было хорошее. Офицер вспомнил, как два дня назад, сразу по прибытию в гарнизон, он вручил предписание Великого князя начальству Кавказской линии, а далее вынужден был ожидать приезда в Ставрополь командующего войсками, которому ему вверено было передать другое послание лично. В штабе сообщили, что прибытие генерала Нейгардта ожидают на первое мая; на вопрос ротмистра: «Чем прикажете заняться теперь?» ему был даден нежданный простой ответ: «Всех наград не заслужить, а посему отдохните до приезда его высокопревосходительства. Радуйтесь выпавшей на ваше счастье неделе. Осмотритесь, познакомьтесь с нашими офицерами, справьте новое платье по местному крою для верховой езды, здесь не Петербург... Словом, вживайтесь... впереди вас ждет горячее время».

И Лебедев, следуя доброму совету старшего адъютанта штаба, принялся знакомиться с городом и теми немногими, но колоритными достопримечательностями, которыми был богат этот забытый Господом край.

* * *

Губернский Ставрополь лишь гордо назывался таковым на бумаге, но бумага, как известно, все стерпит. На самом деле на 1846 год этот заштатный городишко был менее населен, чем должно по статусу, худо обстроен и имел малопривлекательный вид. «Каменные двух- или трехэтажные дома, даже на главной улице, были на счету. Мощеных или шоссированных улиц просто не существовало. Тротуары случались до того узки и корявы, что следовало быть лов-

ким ходоком и эквилибристом, чтобы в потемках, а в особицу после дождя, не ухнуться в глубокую канавищу, полную разными нечистотами, и не помять себе бока после падения»⁵⁶

⁵⁶ Ольшевский М. Я. Записки. 1844 и другие годы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.